

РЕТРО-  
ДЕТЕКТИВ

# СИНДРОМ ГОГОЛЯ



ЮЛИЯ ЛИ

Ретро-детектив Юлии Ли

Юлия Ли  
**Синдром Гоголя**

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Ли Ю.**

Синдром Гоголя / Ю. Ли — «Эксмо», 2021 — (Ретро-детектив Юлии Ли)

ISBN 978-5-04-156623-4

1925 год. Полузаброшенный город. Профессор психиатрии и судебный медик из Москвы, Константин Федорович Грених, после революционных событий и гражданской войны едет забирать из детского приюта потерянную дочь, но по дороге ломается дилижанс. Отец, втайне тоскующий по старому режиму, и своенравная десятилетняя девочка, страстно мечтающая вступить в ряды пионеров, оказываются втянутыми в череду таинственных происшествий... Зять председателя местного исполкома, писатель Кошелев, прибыл из Москвы в надежде вернуть фабрику отца. Эксцентричный декадент и задира, он повздорил с секретарем местной газеты: каждый пытается угодить новой власти, но один блещет в столичных литературных кругах, а другой прозябает в провинции. Кошелев признается Грениху, что болен нарколепсией, а наутро литератора находят мертвым...

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-156623-4

© Ли Ю., 2021  
© Эксмо, 2021

# Содержание

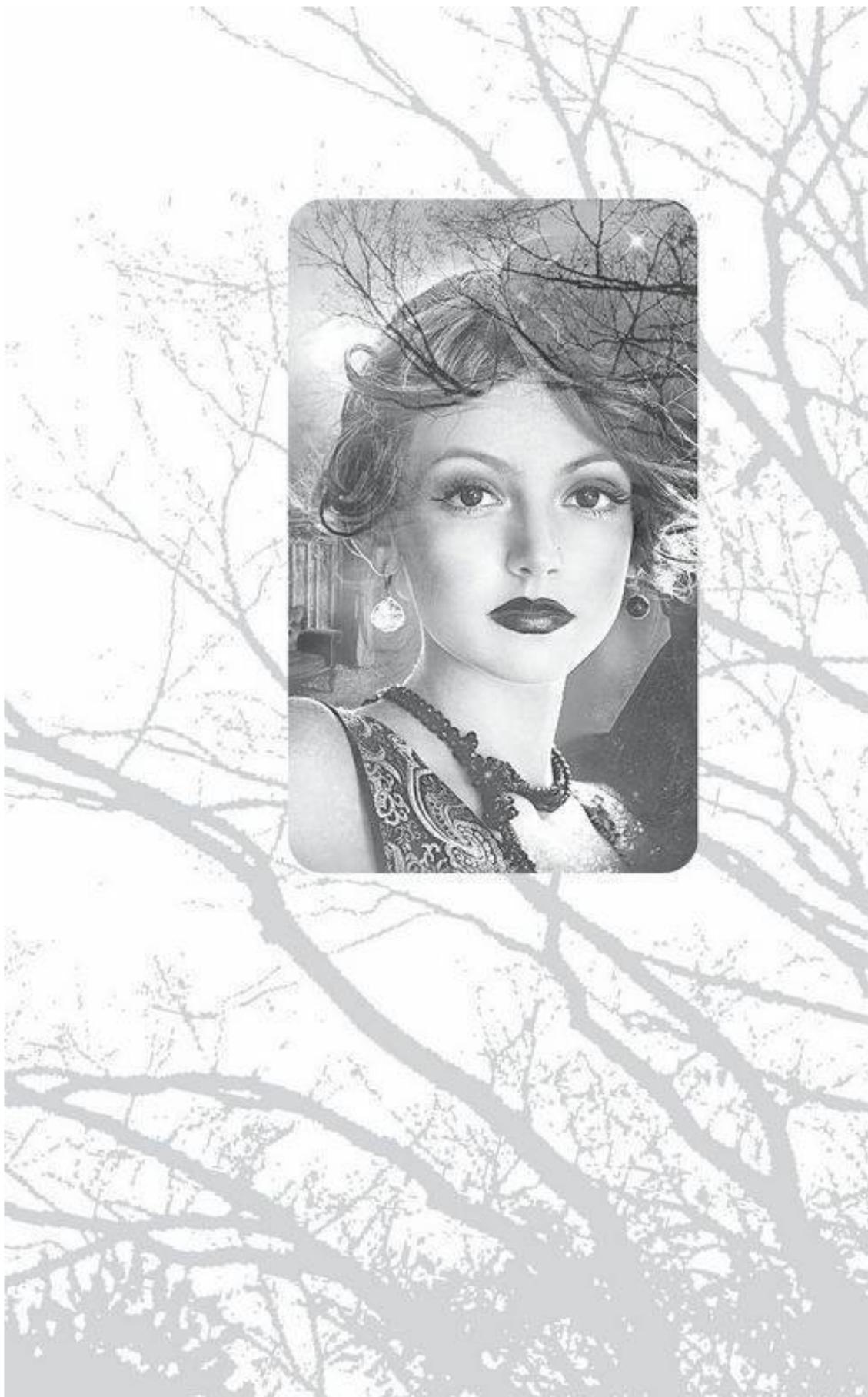
Пролог	7
Глава 1. Никогда не говорите с неизвестными на кладбище	9
Глава 2. Пари	24
Глава 3. Чего так боялся Гоголь	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Юлия Ли

## Синдром Гоголя

© Ли Ю., 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021



## Пролог

– Так-с, – подошел начальник милиции к взрытой могиле, которую окружали несколько монахов, архиерей и профессор Грених, поглядел на нее: пристально, сощурился, запрокинул голову, придерживая фуражку, посмотрел в небеса – может, господа о чем-то вопрошал, может, проверял, кончился ли дождь. Но тот продолжал неистово закидывать землю длинными, как серпантин, струями, стучал по надгробиям, медленными каплями стекал с крестов, сшибал последнюю жухлую листву с деревьев.

– Где Кошелев? – спросил он, вернувшись взглядом к белому пятну газета, проглядывающего сквозь комья мокрой глины и переломанные, напитавшиеся влагой доски крышки гроба. Над ними опасно покосился временный крест с табличкой: «Кошелев Карл Эдуардович 1890–1925».

Ему не ответили.

Он сделал пол-оборота вправо, пол-оборота влево, поглядел на монахов, на профессора.

– Где же Карл Эдуардович? Все-таки восстал из мертвых, так это понимать?

Грених откашлялся. Кто-то должен был внести ясность в происходящее, по крайней мере, для милиции.

– Когда мы явились с отцом Михаилом и Асей сегодня в семь тридцать утра, – стал давать отчет профессор, – обнаружили Карла Эдуардовича наполовину вылезшим из могилы, а монаха убитым ударом тяжелым предметом в голову. За землей было не разглядеть, каким образом покойный проломил крышку гроба. Но кажется странным, что он принялся ее ломать. Зачем? Крышка не забита гвоздями и землей слегка припорошена, достаточно ее просто сдвинуть. Хотя я не уверен в том, сколь сильно давила земля. Я при погребении, товарищ Плясовских, не присутствовал.

Плясовских присел рядом с могилой на корточки и, подтянув рукав бекеши к локтю, принялся расчищать землю вокруг гроба. Это было не столь просто: приходилось возить рукой по размякшей земле, тотчас сотворенные канавки наполнялись мутной водой. Пальцами он ощупывал края.

– Гвоздей нет.

– Гвоздей и не было, – глухо отозвался отец Михаил, стоящий в стороне неподвижным черным столбом в своем легком подряснике.

– Далее. В руке у Кошелева был зажат вон тот камень, – Грених указал на кусок мрамора, отвалившийся от соседнего склепа.

– Он им монаха приложил? – Плясовских поддел носком сапога вещественное доказательство. Камень был мокрый, кровь почти всю смыло.

– Тоже не представляю как, – Грених пожал плечами.

Плясовских покосился недобро, и профессор не стал дальше развивать мысль, что вылезшему из могилы было бы несподручно убивать монаха ударом камня в затылок. Разве что только тот сидел, откинувшись спиной на крест, и спал, а Кошелев пробил кулаками доски, вылез наполовину, дотянулся до камня и ударил им в затылок спящего монаха. Это как крепко спать надо было, чтобы не заметить за спиной встающего из могилы мертвеца?

Но Грених ничего этого вслух не сказал. Отчасти потому, что по-прежнему был уверен, что Кошелев мертв и не мог самостоятельно подняться, отчасти потому, что привык не болтать лишнего, а лишь давать сухую медицинскую справку.

Но в мыслях все вертелись разного рода версии. Его кто-то уволок, вот и все. Перед глазами стояло белесое тело на каменном столе ледника. Тело с синюшной кожей, с трупными пятнами на лопатках. Нет, эти изменения необратимы. Кошелев был мертв!

Невольно Грених посмотрел на отца Михаила, глядящего перед собой с мертвенно-белым лицом. Вот уж кто влип по самые уши, так это архиерей. Если молва о сбежавшем покойнике разнесется по округе, его низложат и из уезда погонят вон. Похоронил живого человека! Прежде не разобравшись, мертв тот или нет. А какая почва будет для досужих толков и антирелигиозной агитации. Понарисуют плакатов, понапечатают статей о том, как поп живых хоронит.

– Что ж, – за него ответил начальник милиции, – надо ж найти беглеца. Далек он не убёг. Малявин, беги в Тоньшалово, проси дружинников, ну хоть пятерых, и обратно. Скажи, тут чрезвычайное происшествие. Я лично отчитаюсь... потом.

Начальник перевел дыхание, нервно почесав переносицу.

– Беляев, а ты – в город. Обойди все дома, питейные заведения, товарищества, кооперативы, лавки, в редакцию газеты не забудь зайти. Но Зимину ничего пока не говори, а то опять он мне поэму настрочит и пустит ее по всему городу. Никому пока ничего не сообщайте. Перво-наперво надо Кошелева сыскать. Потом уже будем думы думать, как с ним быть. В губисполком эта история попасть не должна.

## Глава 1. Никогда не говорите с неизвестными на кладбище

Шаткий, сколоченный еще до революции дилижанс жестко подсакивал на кочках, раскачивался из стороны в сторону. В Москве на улицах всюду гремели трамваи, шныряли автобусы, грузовички «Форды», таксомоторы, а здесь – десятка два верст от Белозерска – все еще царил девятнадцатый век и не было даже железной дороги.

– Я сама себе хозяйка и хочу снять эту уродливую шапку.

Девочка десяти лет сидела в теплом пальто с котиковым воротником, из-под него торчали штанишки с манжетами под коленками, на ногах высокие плотные ботинки и теплые вязаные гетры, на голове фуражка с ярко-красным помпоном, а из кармана выглядывала рогатка. Грених закрыл глаза, отчаянно соображая: *как*, как сносить выходки маленькой проказницы, какой курс взять в воспитании вновь обретенной дочери, как уследить за всеми ее попытками набедакурить при любом удобном случае?

Увидеть Майю, или как ее прозвали в детдоме – Майка, Константину Федоровичу Грениху довелось лишь какую-то неделю назад, а уже знакомство это обещало перерасти в настоящую вражду.

Первым, чему он поразился, был даже не ядовито-колючий нрав девочки, а ее чрезвычайное внешнее сходство с ним: угловатость, неаккуратно стриженные и спутанные волосы, большие темные глаза, какое-то тяжелое, недовольное выражение лица, совершенно несвойственное детям ее возраста, – он будто увидел маленького себя в зеркале родительской квартиры. Отстраненного, высокомерного, вообразившего, что постиг все земные науки в свои жалкие десять. Может, он и сам был таким, может, угрюмый вид ему придавала врожденная гетерохромия: один глаз карий, другой – зеленый. Это не казалось заметным, пока Грених не начинал сердиться, тогда карий глаз темнел, и вид он приобретал будто косящий, ослабившийся волк.

Взгляд Майки не нуждался в дефекте, он без того хранил хищный, отталкивающий оттенок. Он был не просто надменный, а мстительный, не кислый, но скорее, злобный, не с нарочитой мрачностью и отстраненностью, какую еще мальчиком Грених любил на себя напускать, а почти свирепый. Как у маленького загнанного зверька, готового продать свою шкуру дорожке.

Тонкий носик, впрочем, ей достался от покойной жены, но девочка успела сломать носовую перегородку – еще не спал отек под глазами, придававший ей вид тем более дикий. Может, упала с дерева, или кто не стерпел обидных слов в свой адрес. А на язык проказница была остра, за словом в карман не лезла. Через слово брань, какая-то деревенская чушь о леших, или лозунг с пионерского плаката – ими густо были увешаны стены детского дома, в котором она провела три последних года.

Только потом он понял, что упрямством, нелюдимостью и болезненным самолюбием Майка пошла в него в еще большей степени, нежели даже лицом. Майка была слишком Грених, чтобы это не напомнило Константину Федоровичу о фамильном древе. Покойные дед – врач с большой частной практикой, ветеран Русско-турецкой войны, отец – ординарный профессор кафедры психиатрии Московского медицинского университета, мать, презревшая насмешки общества и отправившаяся слушать лекции Фрейда в Венский университет, старший брат, наделенный большим умом, мечтавший открыть психиатрическую больницу, которая не уступала бы клинике Шарко в Сальпетриере, но имевший несчастье родиться психически нездоровым...

Октябрьская революция смела с лица земли все, что Грениху было дорого. Отец застрелился, брат бежал из палаты буйных, жена, погибшая в поезде по дороге между Вологдой и Белозерском, покоилась где-то на кладбище в Череповецкой губернии. Двухлетняя дочь же

была извлечена из разграбленного поезда станowym приставом, который, быстро уразумев, что полицию старого режима не жалуют, пошел в сотрудники милиции Временного правительства, а потом и в охранную дружину уезда.

До семи лет жизнь Майки была нелегкой. Она росла почти беспризорником, выживая в пригороде Белозерска и близлежащих деревнях, кочуя вместе с бывшим станowym, исполнявшим обязанности старшего милиционера, пока Деткомиссия ВЦИК не определила ее в сиротское учреждение и не принялась искать родственников. Взятый из жалости на воспитание девочку запомнил только ее имя и фамилию.

Грених нашел ее в Кирилло-Белозерском монастыре, где с успехом сосуществовали детский приют, Окружной Череповецкий музей, коммунальные квартиры и зернохранилище.

Когда явились забирать Майку, за нее радовался весь детдом. Но сама Майка отказалась даже видеть отца, заявив, что ее настоящие родители – леший и колдунья, а сама она готовится вступить в отряд юных пионеров. Но под натиском воспитательниц все же дала смотринам состояться. При виде высокого, худого и угрюмого дядьки с черной шевелюрой, падающей на глаза, одетого в выдавший виды английский военный тренкот бутылочного цвета, она скрестила руки на груди, окатила того леденящим взглядом и молча поджала губы.

Напрасно ее пытались усюветить воспитательницы, готовые пойти на все, лишь бы избавиться от лишнего рта в приюте, напрасно рассказывали, что ее родитель – профессор и судебный работник из Москвы. Она не пожелала никуда с ним ехать. И с большим трудом дала себя переодеть в новенький костюмчик, который привез Грених. Он совершенно не знал, что носят маленькие десятилетние девочки, и, будучи в магазине готового платья, перепутал девчачью одежду с мальчишечей, а пальто выбрал на два размера больше.

Майка вышла за ворота, нахолившись, как воробей, скрестив руки на груди. Шла за отцом с неохотой, отойдя от него на несколько шагов, то и дело останавливаясь и злобно косясь. Грениху пришлось смириться и приготовиться к длительной и изнуряющей поездке, наполненной ворчанием, демонстрацией отсутствия воспитания и нарочитой дикости.

В дилижансе Майка отказалась сесть рядом, шлепнулась на скамейку напротив и, скрестив руки на груди, зло поглядывала из-под совершенно не шедшей ее угрюмому лицу белой фуражки с синими лентами и красным помпоном. Щеки ее горели алым и, того и гляди, готовы были лопнуть – надула их, как два больших мыльных пузыря. Когда она злилась, синева под глазами становилась еще явственней. Манерами Майка походила на дворового мальчишку. В дороге она не поменяла перекрестия рук, непрестанно на все лады фырчала и нервно отстукивала недовольный такт подошвами ботинок, уже где-то перепачканных в грязи, ни на минуту не прекращая этот барабанный бой протеста. Не знавший, куда себя деть, и сгоравший от стыда Грених просто закрыл глаза и притворился, что спит.

Были времена, когда и он, скрестив на груди руки и почти вот так же отстукивая башмаком барабанную дробь, сидел против собственного отца, отстаивая сквозь сжатые зубы право идти прозектором, называть себя либералом, желание вступить в «Союз освобождения» и посещать марксистские кружки...

Через полчаса пути, осознав, что тихим ворчанием своего не добиться, Майка наконец выдавила:

– Я хочу снять эту уродливую шапку. Так пионеры не рядятся! Это что за буржуйская панамы?

И не стала дожидаться разрешения, сорвала головной убор с макушки одним лихим махом, бросив его к ногам отца. Короткие волосы ее, потревоженные неаккуратным движением, взметнулись иглами. Теперь она совсем стала похожа на сорванца. Пассажиры тотчас вскинули на нее взгляды.

– Ах, чудо девчушка! – озорно подмигнула Майке совсем юная барышня в синей косынке, повязанной назади, как у Лили Брик с плаката «Покупайте книги Ленгиза».

– После болезни, что ли, одичала? Из больницы путь держите? Сыпняк был? – спросила дородная женщина в телогрейке и цветастом платке с длинной бахромой. В ее ногах стояла корзина, полная поздних яблок, накрытая тряпкой. Улыбнувшись, она протянула одно Майке и похвасталась, что в этом году в совхозе «Прометей» большой урожай райки. Девочка выпрямилась и неожиданно вежливо поблагодарила женщину, назвав ее гражданкой.

– Да какая же это девчушка, – подал голос сухой гражданин в теплой бархатной толстовке, подпоясанной черным армейским ремнем, шинель он сбросил на колени. Он был разбужен, но смотрел без злобы. – Настоящий сорванец, вон рогатка какая из кармана торчит.

Майка прищурилась, тотчас вскинула руку к деревянному оружию, проверяя, на месте ли оно.

Константин Федорович наблюдал за дочерью одним глазом: за тем, как она на миг выпрямилась, принимая в дар яблоко, качнула головой чуть ли не по-гимназически, как потом схватилась за рогатку, будто американский ковбой. Пассажиры продолжали свое незатейливое общение с девочкой, но та на вопросы их не отвечала, дичилась или говорила отрывисто. В разговоре не участвовала только прямая дама средних лет в пальто с фалдами и беретом на одно ухо – похоже, артистка, непонятно что забывшая в такой глуши. Черты ее лица были словно выписаны заново поверх белил и застыли неподвижной маской – казалось, она боялась не только улыбаться, но и говорить.

Дилижанс ехал лесом, дорога стала совсем узкой, кочки встречались чаще. Колеса тяжело переваливались через проступающие под почвой корни высоких елей. Пахло прелой листвой и хвоей. Грених опять закрыл глаза, стараясь думать о лесных запахах, – в Москве теперь пахло бензином, прогорклым маслом и пылью. В голову упрямо лезло воспоминание о том злосчастном апрельском утре 18-го, когда в передней родительской квартиры на Мясницкой раздался оглушительный грохот.

– Иди же, – вскричал тогда отец, а жена с маленькой Майей на руках шарахнулась в угол. – Иди же, открывай своим соратникам, товарищам по оружию, идейным братьям! Вот за это ты сражался, иуда! За это переметнулся в Красную гвардию. Нет у меня больше сына.

До сих пор Грених помнит толпу в черных, раздобытых где-то на военных складах, армейских кожаных куртках, с «наганами» и отупелыми, жадными лицами, помнит свое ледяное равнодушие, с которым посторонился, впуская лаковые фигуры в переднюю. Помнит выстрел из кабинета отца и как рухнули все его идеалы, рассеялись, точно дым, убеждения и вера в свободу и цивилизацию будущего.

Они именовали себя членами «чрезвычайной комиссии по борьбе со спекуляцией», а на деле были анархистами и простыми разбойниками, воспользовавшимися хаосом и считавшими, будто имеют полное право брать все, что захотят, объясняя это наступлением новых времен всеобщего равенства. Он и бумаг не стал читать, которые ему сунули под нос, сжал челюсти, в ушах звенел выстрел. Грених не смотрел на жену с ребенком, не бросился в кабинет – спасти отца было бессмысленно, тот знал, как правильно пустить пулю в висок, чтобы наверняка. Лишь сделал нарочитый приглашающий жест, вызвавший довольную улыбку на еще юном, молодцеватом лице комиссара ревкома.

В кабинете отца, равнодушно глянув на его бездыханный труп, распростертый в кресле, черные фигуры лишь выдернули из его мертвой руки «браунинг» и принялись под неумолчный детский плач выносить мебель, выворачивать ящики в поисках золота и оружия, сыпать на ковер медицинские книги, чтобы было чем топить буржуйку. Дедовскую винтовку Ижевского оружейного завода 1870 года комиссар тотчас присвоил себе, предварительно взвесив ее сначала в левой, потом в правой руке, потянул затвор, заглянув в патронник.

В городе перестреляли всех городских, несколько месяцев царили хаос, голод, холод и анархия, по улицам шныряли банды солдат, во имя революции «реквизировавшие» оружие, в уплату контрибуций – серебро, картины. Этому невозможно было помешать.

Лишь спустя год выяснилось, что к большевикам эти люди не имели никакого отношения, а ордер, с которым они явились, был филькиной грамотой. И таких погромов были сотни, тысячи...

Разграбленная квартира все это время пустовала и даже некоторое время, пока не назначили управдома, служила прибежищем бездомных. Он не знал, чему и во что верить, успел посадить жену с ребенком на поезд до Вологды, где их должен был встретить тесть, и чтобы самому себе доказать, что его дело – правое, вернулся в Красную армию рядовым. Потом расстрельный список, дни красного террора, морг Басманки.

– Я и ботинки снимаю, ух, палец сдавили. – Грених вздрогнул, переносясь из прошлого в тряский дилижанс, и несколько секунд недоуменно смотрел в лицо угрюмой девочки с перебитым носом. Чувство, что он смотрит на собственное отражение из далекого бесцветного прошлого, парализовало его.

– Можно, папенька, можно? – дразнилась она. Грених не слушал, опять приоткрыл только один глаз, наблюдал.

– Ну, можно, ну, можно, нуможнонуможно...

– Нет, потерпи до остановки, – выдавил он подхриповатым голосом человека, который редко раскрывает рот. Сделал усилие, заставил себя улыбнуться, нагнулся, поднял фуражку.

Майка сверкнула исподлобья глазами, посерела лицом. Губы вытянулись в трубочку.

– Да провались эта телега сквозь землю! – И так топнула ногой, что транспорт сотрясло, будто от удара гигантским молотом по крыше. Пассажиры разом охнули, вскинули руки в отчаянной попытке схватиться за неподвижную опору. Но рядом, кроме соседей, никого не было – все сидели локоть к локтю, поэтому хватались друг за друга. Дилижанс встал, сильно накренившись. Грених схватился рукой за раму окна, но все равно упал на одно колено, с головы соскользнула шляпа, в спину влетела дородная тетка в телогрейке, по полу покатился румяный урожай совхоза «Прометей», какие-то инструменты, вещи, выпала из картонки шляпка с ядовито-изумрудным пером, за которой с визгом кинулась артистка.

Почти тотчас же ворвался возчик в картузе набекрень.

– Никто не зашибся, граждане? – задыхаясь, выпалил он и, как глухонемой, отчаянно замахал руками, пытаясь начать объяснение. – К-колесо, к ч-чертям, в яму, четыре ступицы слетело. Наладить сразу – никак. За мастером в Белозерск надобно.

Грених медленно вернул шляпу на голову и отправил Майке укоризненный взгляд. Та залихватски усмехнулась, по-прежнему держа руки скрещенными на груди, но теперь ее нос был гордо вздернут. Ясное дело, вины девочки здесь никакой не было, но та считала, что это она развалила экипаж.

Все потихоньку, охая и причитая, принялись выползать из накрененного транспорта. Грених машинально подавал руку то одному, то другому, помогая подтянуться к дверце, которая оказалась значительно приподнятой над землей. Передал корзину с яблоками возчику, который суетился с той стороны, придержал за локоть даму в телогрейке, следом артистку с выбеленным лицом.

– Спасибо, – звонко вскрикнула барышня в синей косынке, ухватившись за ладонь Грениха в свою очередь. На ней был чесучовый плащ не по размеру, из-под косынки ниспадали длинные, до пояса, пушистые волосы пшеничного цвета. Она промелькнула перед глазами, как девица, прыгающая через костер в ночь на Ивана Купала. Прядь задела Константина Федоровича по лицу.

Выбираясь из накрененного набок гужевого транспорта последним, он чуть задержался на ступеньке, разглядев вдаль потонувший в облаке желто-багряных крон купол с облупившейся черепицей.

Тем временем возчик стянул с козел небольшую ивового прута корзину и передал ее девушке с пшеничным цветом волосами.

– Наверное, – со вздохом сказал он, – это единственная поклажа, которая не пострадала.  
– Ой, спасибо, Михайло Феоктистович, спасибо, благодаря вам мои каштаны спасены!

Подхватив корзинку двумя руками, она несколько минут сияла улыбкой, переминаясь с ноги на ногу, покачиваясь, будто собираясь что-то сказать.

– Граждане! – начала она неловко. – Граждане, товарищи! Вы, наверное, все здесь проездом... А я – здешняя, живу на Краснознаменной...

Бывшие пассажиры, занятые тем, что приводили поклажу в порядок, с неохотой глянули на нее.

– Дилижанс четверть версты не добрался до нашего города Зелемска – через небольшую лесополосу лежит улица Привозная, – говорила она нарочито громко, с нажимом, подбирая слова, словно из учебника по географии или путеводителя. – Тут рядом бывшая гостиница, перепрофилированная в коммуналки, следом опять в гостиницу, в ней половину комнат еще снимают жильцы, а другая половина сдается под номера.

– Довольно сносные, – поддакнула дама в берете, отчего-то обращаясь только к Грениху.

– Да, очень сносные, хорошие, чистые. Там мой дядя живет. Вы могли бы остаться здесь на ночь, до следующего дилижанса. Заведующий – товарищ Вейс. Уверена, он вас всех примет, – махнула головой девушка, продолжая покачиваться с одной ноги на другую от чувства острой неловкости, но и желая помочь бедным, брошенным путешественникам. – Вон, видите крыша виднеется. Идемте, я провожу!

После транспортной катастрофы бесколесный дилижанс так и остался одиноко стоять на дороге. Грузенные корзинами, саквояжами, чемоданами, все двинулись в глубь леса грунтовой, хорошо утоптанной тропинкой, растянувшись длинной вереницей, будто большие муравьи, шествующие к своему муравейнику.

Нужно будет взять какой-нибудь тарантас на ближайшей почтовой станции или же дроги, стал размышлять Грених, подхватив свой потрепанный желтый чемодан со скромным запасом белья, парой пробирок, заранее прокипяченными шприцами. Рядом, распевая песенку нескладного сочинения, вприпрыжку бежала Майка, весьма довольная тем, что, топнув ногой, она развалила на части экипаж. Именно об этом и была ее поэма. А еще о том, что она дочь колдуньи, а ее собственные пальцы высекают искры.

*Я нарву в лесу волчьих ягод  
И сварю для Петяйки суп.  
Будем долго играть в гляделки,  
Пока он не станет труп.*

Грениху оставалось лишь надеяться, что смысл ее слов не доносится ни до чьих ушей. Он было собирался заметить, что в ее песнях нет ничего пионерского, но промолчал. Жена бывшего станового была деревенской знахаркой, от нее Майка нахваталась сказок и причуд. Понадобится не один год, чтобы распутать клубок ее убеждений, сотканный из мальчишеской удали, деревенских сказаний и страстного желания стать одним из героев с пионерского плаката, повязанным красивым красным галстуком и со знаменем наперевес.

– Как тебя зовут? – услышал за спиной Грених и бросил косо взгляд на барышню с каштанами, которая догнала Майку.

Та напыжилась и, замолкнув на несколько секунд, выдала свое имя, отчество и фамилию так, словно была испанской инфантой. «Умеет себя подать, – внутренне усмехнулся Грених, – это кровь. Еще не все потеряно, не все».

– Ты сама песенку сочинила?

– Сама.

Некоторое время они шли молча, Грених чуть впереди, торопясь и глядя себе под ноги, Майка и ее новая знакомая – позади. Вдруг девочка оббежала Константина Федоровича и встала у куста бересклета.

– Ого! А отчего он такой... яркий? Никогда такого не видела.

– Ночью был морозец, – выдавил Константин Федорович, проходя мимо. – Фиолетовый окрас бересклет приобретает лишь с холодами. Все дело в антоциане.

– А я думала, это кислянка, – отозвалась барышня с каштанами.

Грених бросил короткий взгляд на простенький однобортный чесучовый плащ, мешком висевший на ее тоненьких плечах, промолчал, двинул дальше.

– А каштановый? – вынула она из корзины большой семипалый лист. – Почему частью багровый, частью золотой? Тоже антоциан?

С минуту Грених изучающе разглядывал ее грубые коричневые ботики, которые семенили рядом быстро-быстро, в попытке поспеть за его шагом. Потом поднял глаза выше и искоса, с неохотой и настороженностью посмотрел на протянутый ему осенний лист, а следом и на саму девушку. Она смотрела в ответ по-детски открыто синими, лучистым глазами, на круглых щеках горел румянец, улыбалась и все время подтягивала к локтю сползающую корзину.

– Тоже антоциан отвечает, но только лишь за его багрянец, – пробубнил он, не желая показаться невежливым. – Желтый дают каратиноиды.

– А я знала только про хлорофилл, что он зеленым листья красит. А оказывается, у осенних красок тоже есть свои таинственные вещества. Я очень люблю цветы! Растения всякие, и осень люблю... У тети дома веранду такой чудесный виноградник оплетает, там столько красок! И поди столько же разных веществ.

Грених слишком долго соображал, что сказать в ответ, не нашелся сразу, получилось, будто он нарочно показывал, что не собирается поддерживать беседу. Возникла неловкая пауза. Они опять шли молча. Было уже далеко за полдень. Лес кружил голову красками, запахами, шумом – всей своей жизнью, дыханием, незримой подвижностью. Осень в этом году случилась теплая и поздняя, она подбиралась к природе с осторожностью рыжего лиса, пробуя лапами кроны на прочность и оставляя следы красок в месте своего легкого шага.

Невольно он опять кинул взгляд на ее чесучовый плащ. Девушка шла в задумчивости. Солнце золотило пушистые волосы, создавая вокруг ее маленькой точеной фигурки в грубых ботиках ореол какого-то волшебного сияния.

– Зачем вам каштаны? – нервно кивнул Грених в сторону ее корзинки, чтобы с чего-то начать разговор.

Она тотчас просияла.

– Дядя мой говорит, что в Париже каштаны жарят и едят. Они очень вкусные. Я никогда не пробовала, сегодня решила привезти ему из Белозерска. Я там на рабфаке учусь. И у нас возле школы такие каштаны! Только вот далеко ездить. Но скоро пустят автобус с настоящим мотором. А каштаны, глядите, какие!

И она вынула из корзины пригоршню. Константин Федорович поморщился.

– Здешние каштаны не подходят для этого. Это же конский! Съедобный каштан растет только на юге Франции, в Италии, Испании, не у нас.

Личико девчушки тотчас погрустнело.

– Ой, правда? Что ж мне теперь с этим делать?

– Выбросить. На кой вам этот мусор, – безжалостно рубанул Грених.

Положение спасло выросшее перед ними наконец каменное двухэтажное здание бывшей гостиницы. Девушка с каштанами извинилась и побежала вперед, чтобы успеть рассказать завхозу Вейсу о транспортной катастрофе.

Выстроенная в эклектике, совершенно неуместной в такой лесной глуши, гостиница стояла прямо посреди этого шишкинского великолепия. С подоконников высоких арочных окон,

обрамленных полуколоннами, ниспадали красные полотна – ими украсили стены ко дню празднования Дня комсомола. Ветер надувал их как паруса, казалось, здание вот-вот воспарит в небо «Летучим голландцем». Угловая башенка, увенчанная тем самым куполом, который заманчиво выглядывал из-за деревьев, чуть выдавалась вперед, как гальюнная фигура корабля.

Впечатление портила вывеска. Поверх старого названия «Гранд-опера», которое старательно покрасили белилами такого дурного качества, что все равно часть его проступала наружу, виднелось решительное, красное: «Жилтоварищество «Красная Заря», а сбоку над окнами первого этажа теми же белилами прямо на камне с помощью трафарета было выписано: «Кооперативный Трактир». Все надписи сделаны согласно новой реформе без ятей, десятиричных «i» и твердого знака на конце. Конторы жилтоварищества занимали правое крыло гостиницы, их окна выделялись отсутствием штор и обилием листовок, которыми обклеили стекла.

Выступающие лопатки, лепные карнизы с облупившейся зеленой краской имитировали виноградные лозы и остро выбивались из плоскости стены. Майка разогнала кур, мерно вышагивающих под окнами, и принялась карабкаться по этим гипсовым лозам на второй этаж, но что-то ее отвлекло, и она, ловко спрыгнув вниз, сиганула на каменное крыльцо и исчезла в потрескавшихся дубовых дверях. По обе стороны от крыльца караулом высились два внушительных фонарных столба.

И эта кустарная вывеска с красными буквами поверх белил, алые полотнища и массивные двери возвращали воображение Грениха из хвойного девственного леса в Москву, где каждая вторая такая гостиница стала именоваться теперь Домом Союзов или Советов, и предназначалась для размещения руководящих членов народной власти, и подчас была украшена чем-то ядовито-красным.

Тем не менее у здешней гостиницы оставались два несомненных достоинства, коих не доставало московским отелям, – красота, прямо сошедшая с полотен Левитана или Шишкина, и тишина.

На крыльце в тщательно отутюженной и тысячу раз перештопанной двойке в коричневую полоску, в серой, искипяченной до дыр манишке стоял усатый старичок – Вейс. Он выслушал торопливые объяснения девушки и с приветливым дружелюбием уже принимал новых, нежданно-негаданно свалившихся на голову постояльцев. Переодетый дворецкий светился из всех щелей его штопаного пиджачка. Лопоча что-то приветственно-веселое, задорное, не забывая каждое предложение заканчивать «товарищами», «гражданами» и «гражданками», он перепоручал пришельцев женщине в серой косынке и старом медицинском халате поверх длиннополой юбки.

Грених ступил за порог, глянул неприязненно в холл. Поверх деревянных панелей висели плакаты, в отдалении сгрудились грубо сколоченные трактирные столы со скамьями вместо стульев, доносился галдеж, учиненный новоприбывшими, – возмущались, что номера в таком захолустье стоят, точно в московском «Метрополе». Полтора рубля за кровать с табуретом – сущий грабеж!

Оставив чемодан немцу у стойки, топтавшемуся почему-то именно подле Грениха, заискивающе заглядывая ему в лицо, он спросил, где почтовая станция и можно ли там нанять какой-нибудь экипаж. Получив путаные объяснения, он подозвал Майку и наказал ждать здесь. Пробормотал указания девочке, будто говорил с одним из своих студентиков, развернулся и почти бегом, спасаясь от толпы и шума, словно от белогвардейского огня, вышел на крыльцо.

За спиной немец неожиданно зычным голосом позвал некую Марту – видно, ту, что мелькала серым медицинским халатом, заменявшим форменную одежду работника кухни. «Гражданин в тренкоте – птица наверняка важная», – сразу решил Вейс, поледенев от страха при взгляде на холодное, мрачное лицо, с глазами, глядящими из-под черной пряди с проседью будто насквозь и в душу. Он спешно поручил ребенка примчавшейся взмыленной Марте и бросился за Гренихом. Кто знает, с какой проверкой тот явился?

– Прошу простить, я должен был представиться, – вспомнил Грених, стоя на крыльце, вынул удостоверение личности и, не глядя на завхоза, целясь куда-то в сторону, протянул распахнутую картонку с красными печатными буквами на обложке. Перепуганный немец подобострастно нагнулся, быстро пробежался глазами и тотчас выпрямился.

Грених убрал документ в нагрудный карман, натянул на лоб шляпу – заходящее солнце отчаянно лезло в глаза. И двинул с крыльца. Вейс – следом, не без меркантильных замыслов выведать, куда направил свои шаги судебный служащий, тем более из столичного губсуда, совершенно точно прибывший с ревизией. В голове Вейса человек, у которого в документах было написано «научный сотрудник Кабинета судебной экспертизы», приравнивался к работнику ГПУ, а это ничего хорошего не предвещало.

– За ребенком Марта приглядит, не переживайте, – догнал его немец. – А почтовая станция через пролесок на запад. Будете идти на солнце, не ошибетесь. Но есть дорога безопасней, через город, через площадь и здание городской думы... нынче горисполкома, следом гостиницами рядами... то есть кооперативами, потом увидите городской храм, театр, но нынче это Дворец комсомола... правда, без комсомольцев. Почти все сейчас в Вологду перебрались...

Говорил он на ладном, музыкальном русском, лишь слегка заглывая букву «р», гласные произносил мягко на манер умляутов.

– Слишком долго, лесом пойду, – бросил Грених, решительно удаляясь прямо в его густоту, боясь, что Майка увяжется следом.

Оставшись в тишине, он некоторое время шел машинально, не думая о дороге и приходя в себя. Сколько себя помнил, он всегда остро нуждался в уединении. Возможно, именно поэтому его так тянуло с младых лет в прозекторские – тише и спокойней места на земле не придумаешь.

Лишь отойдя на версту от гостиницы, он начал хоть что-то видеть кругом и успокоился.

Закатное солнце роняло с небосвода багровые лучи, сквозь многоцветную призму ветвей они расщеплялись на мириады искр. Макушки ярко вспыхивали, налетал ветерок, и с деревьев сыпались золотые монеты. Вспышки рождались в кустах брусники, в мшистых кочках – будто лес старался отвлечь от чего-то важного, от того, что невольно забредший сюда видеть не должен, отгалкивал, бил ветвями, подсовывал под ноги пни. Каждый шаг сопровождали неумолчное шуршание и потрескивание сухих веток. Будто что-то хрупкое ломалось под подошвами. Глянешь вниз – и лбом влетишь в рядок оранжевых топольков, или вырастет на пути одинокая осина, успевшая сбросить с себя весь наряд, а то и старый дуб вдруг запустит под шляпу острый сучок. И запах – этот головокружительный, пряный запах хвойных иголок под покрывалом облетевшей листвы – давно позабытый аромат дачного отпуска, уютных вечеров на природе, которых теперь не бывает и не будет уже, наверное, никогда.

Лес чихал на войны, революции, смену власти. Вот в таком же подлеске задело в спину осколком и контузило так, что до сих пор помнилось. Перед глазами встал тот день 1914-го – было ближе к осени, конец августа, ясно, тепло, Таневский лес еще зеленый, с редкими золотыми монетами, летевшими с крон. 25-й армейский корпус менял дислокацию, из 5-й армии перебираясь в 9-ю. Вместе с бригадой, направленной Плеве в Люблино, Грених пересекал перелесок. Внезапно атаковали силы генерала Конрада, откуда ни возьмись выскочила толпа австро-венгерских солдат в их зеленых тазообразных касках. Вспомнились тени, несущиеся сквозь тесноту стволов, взрыв, свист шрапнели, камни, почва, желтые листья, вдруг взметнувшиеся в небеса, все перевернулось, заложило уши, земля накренилась под неестественным углом, перед глазами оказалась чья-то изувеченная плоть с белым осколком кости, кем-то брошенная винтовка, до которой не дотянуться, – казалось, оторвало всю левую сторону.

Грених остановился, слепо глядя перед собой, вспоминая первое и навеки отпечатавшееся в сознании знакомство с войной. Оглушило сильно, и несколько осколков попало в спину,

но что-то повернулось в голове, и возникало не к месту воспоминание и спустя два года, и три, и пять лет...

Он заставил себя вернуться к картине сегодняшнего дня. Бывали вещи и пострашнее – например резать плоть, которая не возлежала на холодном мраморе в прозекторской, а билась и орала матерными словами. Но зачем же об этом вспоминать, когда кругом такая мирная красота?

Война заставила Грениха пойти полевым хирургом, взяться за скальпель, хотя на курсе Московского медицинского университета он изучал вовсе не хирургию: два года судебную медицину – по своей прихоти, а после нервные и психические болезни – по отцовскому наставлению. Но все же он мог отличить трабекулярные артерии от пульпарных, вскрывая селезенку, и с каким-то особенным хладнокровием выполнял ампутации. Природное, «грениховское» хладнокровие и показное ко всему равнодушие спасло добрую сотню жизней, и его собственную, пожалуй, тоже...

Зачем ворошить?

Все это из-за дочери, из-за Майки! Нашлась и скovyрнула старые раны. Грених прошагал, наверное, еще версту, вдруг ощутив что-то новое – может, теперь все переменится? Лес ему поддакивал, как умудренный опытом старец. И чувство какого-то неясного, чего-то хорошего... Освобождения? От чего? Оно пьянило, будто со старого каторжного сняли кандалы и пустили походить по лугу. Семь лет как машина. Семь лет без чувства жизни. И вдруг – нашлась.

Не позволяя памяти опять все испортить, Грених двигался напролом сквозь кусты, едва успевая уворачиваться от нависающих ветвей сверху и ловил себя на мысли, что все это время существовал в черно-бело-красной ленте кино. Что ему теперь с ней делать? Как воспитывать? Были студентки, а теперь – родная дочь.

Бездумно пнув камень, он поднял голову, чтобы посмотреть, куда тот улетел. Взгляд зацепился за каменное строение. Совершенно здесь невообразимое.

Посреди леса будто гриб после дождя вырос увитый плющом склеп, выполненный в чистейшем романском стиле и украшенный зеленым мхом. Склеп! С колоннами, портиком и кое-где оголенным кирпичом – штукатурка, старательно имитирующая камень, уже начала осыпаться. Обойдя его кругом, Грених обнаружил рядок небольших надгробий, поодаль еще парочку крестов, потом еще несколько мраморных плит, печальную фигуру потемневшего от времени ангела, склоненную над могильной плитой, перекошенной и расколотой надвое. Лес расступился. Чем дальше он шел, тем ровнее и теснее стояли надгробья.

Обернулся – это было самое настоящее кладбище. Довольно старое, судя по датам, тихое и очень живописное, но все же погост. Он снял шляпу перед очередным камнем, покрытым мхом и густо усыпанным золотом с ветвей соседнего дуба.

– Кошелев Эдуард Карлович. 1854–1909, – прочел он. – Как так вышло, что посреди леса могилы? Черт знает что такое.

– А здесь ограду недавно снесли, – ответили ему тотчас же.

Грених вздрогнул и первое, что предположил – у него галлюцинации, какие были у брата. Дожили... Голос был мужским и будто лился напрямик из-под земли.

– Будут новую соорудить, – добавил он. – Старый забор вывезло товарищество «Стройчугуниметалл».

Грених застыл, ком подступил горлу.

– Благодарю, – выдал Константин Федорович, обращаясь к каменному кресту, на который смотрел, все еще надеясь, что отвечает какому-то случайному прохожему. Взгляд его спустился к засохшему букету полевых цветов, прикрывавших полустертую эпитафию в пятистопном ямбе.

– Вы добрались до городского кладбища, сами того не заметив. – Тут к величайшему облегчению Грениха из-за мшистого памятника, возвышающегося прямо за крестом, выглянула светловолосая голова. Она принадлежала мужчине лет тридцати пяти – вполне живому – с открытым взглядом, почти белыми ресницами, светлыми аккуратно выстриженными усиками. Весь он был белый, будто немец, швед или даже альбинос. Окажись цвет его волос и кожи еще на полтона светлее, можно было бы счесть его за привидение.

Мужчина сидел прямо на земле, небрежно откинувшись на камень спиной, уронив локоть на согнутое колено. И одет хорошо, но совсем не по погоде – в сорочку, пестрый шелковый жилет, брюки «полпред» с отворотами и парусиновые туфли.

– Я больше не чувствую холода. Ни холода, ни тепла. Почти как мертвец. Мог бы вообще не одеваться, если бы не приличия, – вставая, ответил он на немое недоумение Грениха. – Позвольте представиться – Кошелев Карл Эдуардович. Зовите меня Карликом.

Широко улыбнувшись, он протянул Грениху руку – тоже белую, без перчатки, тонкую, с длинными, гибкими пальцами. Весь облик его дышал какой-то изнеженной, абсолютно в эти времена немислимой аристократичностью, прозрачностью, хрупкостью и воздушностью.

Грених молча ответил на рукопожатие, с большой для себя радостью отмечая, что рука была хоть и холодной, но вполне осязаемой. Перед ним стоял не оживший покойник.

– Неужели вы меня не узнаете? – сиял улыбкой альбинос.

– Нет, совсем нет. Простите. – Грених продолжал разглядывать своего нового знакомого, еще не успев окончательно прийти в себя.

– Верно, вы не из Москвы?

– Из Москвы.

– Что вы! А журналов не читаете? «Красная новь», к примеру.

– Не читаю.

– И роман «Синдром Гоголя» тоже ни о чем вам не говорит?

– Нет.

– Чем же вы были так заняты, что не слышали ни о «Красной нови», ни о «Синдроме Гоголя», о котором нынче из каждого кооперативного трактира и клуба вещают?

– Учился... на рабфаке, – нашелся Грених, хотя до войны и революции работал ординатором в Преображенской, нынешней городской психиатрической больнице № 1, успел получить экстраординарного профессора и преподавал судебную медицину на юридическом факультете.

Но не очень-то ему хотелось распространяться о своей биографии перед этим странным типом, от которого за версту несло эмиграцией. Нынче из забугорья стали возвращаться отчасти бесстрашные индивидуумы из поэтов, художников. Яркие личности, видно, быстро находили свою нишу в молодом государстве.

– Ах, вот оно что, – выдохнул Кошелев, скучаяще повозив палую листву носком своей чуть ли не летней обуви, и вдруг живо застрекотал по-французски. – *Mais maintenant je suis célèbre. Et rencontrer un homme qui ne connaît pas mon visage est une grande rareté<sup>1</sup>*. Вы располагаете возможностью судить обо мне, не опираясь на все эти досужие рассказы, нелепые слухи. *They nicknamed me russian Edgar Poe<sup>2</sup>*, – добавил он вдруг по-английски.

Грених кинул на него настороженный взгляд.

– С внешностью Оскара Уайльда! – хохотнул тот, заметив недоумение собеседника. – Я долго прожил в Лондоне, там, знаете ли, все помешаны на убийствах, опиуме, насилии и маньяках, умы коих возвышенны, чувства – духовны, сердца полны любви... к смерти. Даже был один такой смельчак – Томас де Квинси. Слыхали? Он не постеснялся учить мир, как уместней курить опиум, и даже взялся рассуждать об убийствах со вкусом – будто то не пре-

---

<sup>1</sup> А я вот нынче слышу знаменитостью. И повстречать человека, который не знает моего лица, большая редкость (*франц.*).

<sup>2</sup> Они прозвали меня русским Эдгаром По! (*англ.*)

ступление вовсе, а некий chic и дань моде. Если все это туманное, английское начать разоблачать в пух и прах, то получится – вуаля, советская проза. Взять удалого сотрудника угрозыска, или бойкого комсомольца, или студентку училища, поставить против них помешанного на романтизации наркотических веществ, вина и прочего разврата, столкнуть лбами – роман готов! Если печатать здесь – читатель сочувствует первому, если там – второму.

Константин Федорович продолжал стоять с непокрытой головой – он так и не надел шляпу, – с удивлением слушая своего странного нового знакомого, который ни с того ни с сего принялся вываливать на голову первому встречному какой-то совершенно невообразимый вздор. Ошеломленный встречей Грених не сообразил и спросить, где почтовая станция, которую он искал.

Накатило неприятное ощущение, что он видит призрака. Не умер ли этот человек в году этак 1909-м, не мечется ли теперь меж надгробиями его неприкаянный дух? Кто такой Кошелев Э. К.? Грених невольно обратил взгляд к могиле, к затертым инициалам на треснутом камне.

Нет, внутренне посмеялся он, это вовсе не привидение. Еще чего не хватало – альбиноса, разгуливающего по кладбищу осенью в тонком шелковом жилете и парусиновых туфлях, принять за призрак! А Кошелев Э. К., скорее всего, его родственник. На что только в моргах Басманки и Мосгубсуда Грених ни посмотрелся, чего только больные в Преображенке ни отчебучивали, чтобы вот так пугаться первого встречного чудака.

Суеверным Константин Федорович не был, но невозможно жить и работать, вечно балансируя на тонкой нити, протянутой от жизни к смерти, наблюдать, как она причудливо вьется, видеть и чудо воскрешения, когда все было безнадежно, и внезапную погибель, когда надежда вроде и подавала отчаянные сигналы, и оставаться глухим к высшим силам. Лет двадцать назад Грених бы фыркнул при подобной встрече, а к сорока годам приобрел дурацкую привычку верить в приметы, удачу, загробный мир, с неохотой признавая, что нож хирурга – не волшебная палочка, учебник анатомической хирургии – не Библия, а наука – вовсе не свод работающих безотказно аксиом. Молодой врач еще способен верить во всесильность науки, а тот доктор, у которого за плечами годы практики, приходит к неутешительному мнению, что все в руках некой высшей силы, и одна лишь слепая удача иной раз решает исход лечения.

Пока Грених внутренне рассуждал, незнакомец, не переставая, говорил и говорил. То по-английски, то сходя на французский. Кроме того, он совершенно не стоял на месте, описывал круги, лавируя меж надгробиями, ошалело оглядывался, будто что-то искал или чего-то ждал. Приходилось вертеть головой, чтобы оставлять его в поле зрения. Кошелев будто гипнотизировал какими-то колдовскими пассажами.

– Я с детства любил to hide here<sup>3</sup> от шума, толпы и солнца... – Он вдруг опустился на колени, сгреб в охапку руками две груды палых листьев, с силой сжал их, а потом, наклонив голову и медленно разжимая пальцы, глядел, как смятые желто-багряные комки ссыпаются ему под ноги. – Врачи запрещают мне долго находиться на солнце. А здесь так приятно под сенью многолетних деревьев, у безмолвных каменных плит и крестов, в объятиях crying angels<sup>4</sup>.

Грених не нашел, что ответить, и лишь пожал плечами, собираясь идти дальше. Все же не внушал ему этот эксцентричный альбинос доверия. Гоголь, Эдгар По, де Квинси, устаревшая страсть к мистике, врачи, мол, не разрешают под солнцем находиться. Знаем мы вас, любители мрачных кладбищ, вампиров и упырей, страстно припадающих к холодному камню надгробья в порыве театральной экзальтации. Насмотрелся, видно, будучи в эмиграции, на тамошних шутов гороховых. Какая-то часть отделения Преображенской психиатрической больницы в свое время была заполнена скучающими и не обремененными занятостью молодыми, чаще

---

<sup>3</sup> Прятаться здесь (англ.).

<sup>4</sup> Плачущие ангелы (англ.).

состоятельными, людьми, сотворившими культ из отсутствия всякой морали и порочившими больных с настоящими, а порой и неизлечимыми диагнозами.

– Как, должно быть, здесь тесно, – кивнул на могильный камень альбинос. – Вы никогда не представляли себя... ммм... погребенным живьем?

Грених, по-прежнему молча, покачал головой. Он, верно, насмехается? Уйти, надо просто уйти, грубо бросив: «Не мелите чуши, товарищ!», чтобы отстал сразу.

– Говорят, Гоголь всю свою жизнь боялся впасть в... – продолжал разглагольствовать тот, а Грених почему-то не уходил. – Как же это называется, не могу вспомнить... Катаlepsия, кажется. Когда внезапно тебя одолевает самый настоящий летаргический сон, и даже опытные медики готовы констатировать смерть.

– Это не катаlepsия, а нарколепсия. Болезнь Желино, – сухо поправил Константин Федорович, уже сделав два шага в сторону и остановившись. – Катаlepsия – один из симптомов, утрата тонуса мышц.

– А так vous учились on the doctor на вашем... эмм... рабфаке? – удивленно вскинул брови призрак. – Вы, стало быть, естественник?

– Почти... я... интересуюсь немного... естественными науками, – замялся Грених, внутренне негодуя, что ненароком раскрыл свое инкогнито. Этому субъекту не стоило выдавать, что он профессор медицины. Вцепится мертвой хваткой, заставит навывписывать тяжелых медикаментов, затопит волной жалоб и стонов.

– А знаете... vous могли бы оказать мне une faveur?<sup>5</sup>

«Ну начинается», – Константин Федорович не слишком тактично воздел очи горе. Хотя альбинос ничего кругом не видел, его взор странно блуждал по камням, он был слишком поглощен своими мыслями, чтобы заметить, что его собеседник не расположен к разговору и уже почти ушел... Но Грених не ушел. Сделал еще шаг, что-то его удерживало.

– Я не чаял вдруг повстречать на своем пути медика, – продолжал Кошелев, отказываясь хотя бы увериться, что его слова интересны. – Я как раз работаю над новой книгой. Mais quelque chose... impossible de construire l'intrigue<sup>6</sup>, – и яростно потер глаза, будто провел многие ночи без сна за работой. – А мне хочется непременно, чтобы было avec plausibilité médicale... avec des termes... avec une abondance d'instruments médicaux...<sup>7</sup>, знаете, этих, которые с металлическим блеском, острые, страшные загогулины, трубки, кусачки. И не без латыни... или вы, эскулапы, там на греческом друг с дружкой беседы ведете?

– Латынь есть тоже, – буркнул Грених, глядя на носки своих ботинок.

– Ох, верно, позапамятовал. Но клятву даете греку, ведь так? И вот я никак не могу отделаться от этой отягочающей, притягивающей магнитом, изнурительной мысли о тесноте могилы. Видно, у писателей это весьма распространенный недуг. Например, Эдгар По тоже боялся проснуться в могиле. У меня катапл... вы сказали – нарколепсия? Это как-то связано с наркотиками? С опиумом? Или, может, гашишем? Я, увы, очень пристрастился, живя в Англии. Я не могу без него fall a sleep<sup>8</sup>.

«Неужели». – Грених чуть сжал зубы, продолжая выдумывать способы, как бы отделаться от неумолкающего незнакомца, но следил за ним с каким-то затаенным чувством опасения. И все беспокойней становилось Константину Федоровичу при виде этой напряженной несдержанности и искаженного внутренней борьбой лица.

И тут все встало на свои места! Кладбищенский новый знакомый походил на брата.

---

<sup>5</sup> Милость (франц.).

<sup>6</sup> Но что-то никак не идет сюжет (франц.).

<sup>7</sup> ...с медицинской правдоподобностью, с обилием медицинских инструментов (франц.).

<sup>8</sup> Уснуть (англ.).

На брата, с которым Грених проработал бок о бок пять лет в психиатрической лечебнице, четыре года из которых Максим Федорович был старшим ординатором отделения буйнопомешанных, а год – пациентом. И этот год стал настоящим кошмаром для всей семьи, затмившим даже либеральные настрои Константина Федоровича.

Будучи старшим ординатором, брат имел славу веселого и неунывающего доктора, любимца Баженова – покойного главврача Преображенки, весь больничный штат в нем души не чаял. Он обожал паясничать, фокусничать, изображать, с больными заигрывал, подыгрывал и даже переигрывал их. И как-то такой подход в лечении всегда сходил ему с рук и, главное, приносил плоды. Еще в юности на пару с матерью, воодушевленный учениями Шарко и Фрейда, он занялся нервными болезнями. Отучился в Петербурге, поскольку в Москве сначала не велось преподавание психиатрии, работал с Бехтеревым в Психоневрологическом институте и даже практиковал гипноз. От изучения гипнотерапевтического метода он перешел к индийским практикам, но это его не спасло. К несчастью, еще на первом курсе у него диагностировали легкую степень маниакально-депрессивного психоза, позволявшего ему без усталости работать, а потом впадать в периоды мучительных страданий с галлюцинациями и буйством. На него становилось больно смотреть, он днями лежал пластом, а если поднимался, нес чушь, подобную той, что сейчас выдавал альбинос.

Именно поэтому Грених застыл столбом и, как загипнотизированный, следил за перемещениями Кошелева между крестами и памятниками.

Максим Федорович, попав в палату для буйных, уговорил младшего брата провести для него ряд сеансов гипноза, сам обучал его необходимым техникам, и сеансы давали положительный результат, а когда дело пошло на лад, он внезапно бежал из больницы. И появлялся потом всегда как призрак непонятно откуда, вновь исчезал в никуда, перед самой революцией отбыв, кажется, в Америку. До сих пор Грених не мог понять, повлияли на брата гипнотерапевтические сеансы или же то была его умелая актерская игра, благодаря которой он задумал выбраться из строго охраняемой палаты отделения для буйных. Но ведь он смог уверить в успехе самого Баженова, склонил дать добро на сеансы Гиляровского<sup>9</sup>, заставил Константина Федоровича поверить в свои силы. Не мог же он, с жаром говоря, что вверяет себя в его руки, так обмануть собственного брата. Однако тот факт, что сумасшедший оказался по его вине на свободе, отравлял Грениху жизнь до сих пор.

У нового знакомого тоже была на первый взгляд вся симптоматика МДП. К тому же он только что признался, что употребляет гашиш. Макс спасался кокаином.

– Нарколепсия с наркотиками не связана. «Нарко» – по-гречески оцепенение, «лепсия» – приступ, – ответил Грених, наконец очнувшись от внутренних рассуждений. – Вы часто страдаете бессонницей? Замечали ли за собой приступы внезапного, непреодолимого желания спать в дневное время суток?

Писатель, казалось, не расслышал, на лице застыло насмешливое выражение с ноткой отрешенности. Но вдруг он с ног до головы оглядел Грениха, будто увидел впервые, и громко прищелкнул языком.

– А говорите, что все сплошь латынь. Вот и греческий объявился... Никак не могу привыкнуть... где я? – Он опустил голову, но тотчас ее вскинул. Поднял лицо, искаженное такой неподдельной мукой, словно собирался сказать что-то очень тревожное и личное, что-то, что его мучит и терзает, или, может, какая-то неведомая спазма схватила живот. – Нам пора возвращаться. Скоро совсем стемнеет... Пропустим рюмочку у дражайшего мэтра Вейса. Вы, кстати, не у него изволили остановиться?

И уверенно двинул обратно. Грених, вздохнув, потянулся следом, угрюмо сунув руки в карманы и уставившись на носки своих ботинок. Солнце больше не проливалось многоцветный

---

<sup>9</sup> Василий Алексеевич Гиляровский – русский и советский психиатр.

дождь на кроны, заметно посерело, еще немного, и сумерки сменяются тьмой. Искать почтовую станцию на ночь глядя не имело смысла.

– Я родился здесь, в Зелемске. Это место знаковое, да. Когда-то, в веке одиннадцатом, на этих землях было венгерское поселение. А венгры – это что? Вампиры! Как у барона Олшеври... Знаете, как переводится Зелемск с венгерского? Селем – город-призрак! – неумолчно трещал на ходу альбинос. – Я тут прибыл намеренно за наследством. Старшая сестра преставилась, два года как, и откатила монастырю отцовскую бумажную фабрику. Монастырю! Это в наше-то время. Но как бы не так. Наследовать, согласно последнему декрету о наследовании, могут только прямые родственники. Если б не явился вовремя, фабрика отошла бы советскому государству. Есть еще племянница, но ей до фабрики дела нет, она так, дурочкой выросла. Сестрица, мать ее, весьма набожной была, на смену власти чихать хотела, оставила духовную. Сейчас вот со всем этим разобраться пытаюсь. Одни одно говорят, другие – другое. Я ее и не помню, сестру то бишь, последний раз в далеком детстве видел. Что с ней случилось в этот переворот, говорят, годами из дому не выходила, общалась только с местным архиереем! Председатель обещался что-нибудь предпринять для меня. Другие мне говорили, ни черта мне не видать наследства, по закону мне положено имущество, ограниченное лишь какой-то очень небольшой суммой, остальное переходит во владение Советов. А третьи так вообще шепнули, что достаточно дать нужным людям хороший откуп. Правда ли это?

– Я таких тонкостей не знаю, – выдавил Грених, не отрывая глаз от своих ботинок. Скорее всего, бедняге откажут, может быть даже, фабрика давно национализирована.

– Она у нас неплохая. Была. – Кошелев то и дело останавливался и вскидывал голову, зачем-то пристально вглядываясь в небо. – Та, что по ту сторону дороги. Я ходил, смотрел. Уже четверть века как заброшена – битые стекла, голый кирпич, черные, будто монстры, агрегаты. Но все же там под слоем пыли и мусора покоятся настоящие золотые залежи! Там ведь и типография есть, и механическая, и граверная, и формная мастерские. У меня, однако, большие на нее виды. А коли открыть кооператив на пару с кем-нибудь, наладить производство, то можно будет и с Москвою, и Ленинградом торги вести. Вы не желаете стать акционером? Выгодное дельце, соглашайтесь. Бумага – удовольствие дорогое и lucrative<sup>10</sup>. Вот скоро сюда чугунок протянет советская власть, и потекут рекою полноводной отштампованные белые листы в стольный град. Можно наконец и на покой. Страсть, как надоело от гонорара до гонорара перебиваться.

И расхохотался неприятно, отрывисто, вновь напомнив Грениху пациентов из отделения для буйных. Ох, плачет по этому типу хороший психотерапевт. «Не возьмусь, не мое дело», – мелькнуло в мыслях.

– Я вот женился намеренно, – продолжал выдавать пулеметные очереди тот. – Дочка-то председателя исполкома – Маричева Захара Платоновича – красавицей выросла. Медичка нынче. Женился, а тесть обещался бумажное производство наладить. С Маричевым успели знакомство свести? Он у Вейса каждый вечер проводит. У нас здесь нечто вроде маленького клуба: собираемся, беседуем за ужином, как в старые добрые времена, а после – карты, бильярд. Реквизированного добра в «Красной Заре» хоть усыпись. Довольно сносные столы были у купца Морозова, хотя шары и кии давно пора сменить. Я почему знаю, – хохотнул Кошелев, – потому что они прежде были отцовскими. Дом наш сестрица еще до войны продала купцу, сама поселилась у родственницы покойного мужа. Фабрику брать никто не желал, а дом купили сразу. О чем я начал? Не напомните? Леса... Леса эти самые Кошелевскими зовутся до сих пор... Нет, не то хотел сказать...

Грених молча смотрел, как в темноте передвигаются носки его ботинок. Если бы этот тип так не напоминал Макса, он не стал бы слушать его и минуты, успел бы найти почтовую стан-

---

<sup>10</sup> Выгодное (англ.).

цию и уже вернулся за дочерью. Но он не заметил, как опять, шагая, мыслями проваливался в удушающие воспоминания о больнице, тесноте палаты, изнуренном лице брата и безумных искрах в его глазах.

– Так вот Офелия, дочь его. Не Вейса, а председателя исполкома – красавица, женою мне стала... Я, кажется, уже говорил это? Но только, тсс, мы в ссоре. Дама она бойкая, ординатором в больницу собирается, в нашу зелемскую. Но знали бы вы, что за гордячка – лед и пламя! Обиделась на меня, выставила вон. Вот и приходится в номерах томиться. Так-то. Но мне не привыкать. Я не скучаю, думаю, как фабрику возродить буду. А это вам не абы что, а дело правое, благородное, выгодное и всесторонне полезное. Городу производство нужно! Не так ли? Глядишь, и трест скооперируем. Тесть – человек не бедный, из бывших офицеров, поручик не поручик, унтер не унтер, не знаю. Воевал за Красную армию, заслуженный какой-то. Пустил корни в молодом советском государстве основательно и ни за какие пироги в мире не съедет. Офелия – можно сказать, красавица, но гордячка. Я уже это говорил? Черт, я чувствую, что все время повторяюсь... Устал, ох, устал, сил нет! Она не в моем вкусе, потому как блондинка. Познакомлю вас с нею сегодня. Вы ей понравитесь, она ученых собеседников страсть как любит, естественников в особенности. Что-то мне подсказывает, ни в каком вы не в рабфаке учитесь. Небось профессор, а? Ваши седины вас сдают с потрохами, сударь. А мы ж, между прочим, с детства знакомы! Да не с вами. Это я опять про Офелию. Я в Зелемске до университета прожил, а потом уехал на лечение – лет ей десять было, только в гимназию пошла. Тогда еще была такая роскошь, как гимназии. А сейчас что? Школа первой ступени, школа второй ступени, не разберешь. Захар Платонович записаться нам позволил. Хотя она и не спрашивала его. О времена, о нравы... Забыл полюбопытствовать, – открывая дверь гостиницы, добавил Кошелев, – как вас величать?

## Глава 2. Пари

С внутренним убранством парижской Гранд-опера зелемская ее тезка не имела, разумеется, ничего общего. Но зато по-немецки была вычищена, несмотря на весьма скудный штат. В свое время Вейс – прежний ее хозяин – отделал все кругом ореховым деревом и изумрудным велюром, но ныне благородство дерева и богатой ткани пришло в такое убогое состояние, что невольно сжималось сердце. Несколько лет назад здесь временно расположили беженцев из Польши. Жалко было смотреть на эти исцарапанные деревянные панели, с вырезанными на них лозунгами и бранными словами, которые Вейс тщательно затирает толченым грецким орехом. Лак облез, изумрудная обшивка стен свисала клочьями – клейстер напрочь отказывался держать объемные куски ткани на стенах.

Затертые, промасленные кушетки, кресла, диванчики и стулья были собраны из разных гарнитуров. Шторы, однако, остались, видно, прежние, но на некоторых окнах вместо велюра висела зеленая бумазая. Облупившуюся на голландских печках плитку спасала простая гуашь – художник, здешний жилец, мастерски повторил рисунок с керамики прямо на шершавой серой стяжке. Из-под его пера вышли все ярко-красные плакаты, которыми были украшены стены холла и трех анфиладно расположенных залов. Плакаты, призывающие приобретать облигации, внести подоходный налог и не верить в бога, закрывали следы от висевших здесь когда-то картин. Иной плакат не совпадал по размеру со снятой предшественницей, и белесые тени таинственными окнами в никуда выглядывали из-под ватманской бумаги, прихваченной сапожными гвоздями по четырем углам.

Гостиничный холл был отведен под кооперативный трактир. По центру тесно стояли столы. За стойкой – большой буфет, густо и щепетильно обставленный пустыми бутылками и пестрым многообразием чайных чашек, блюдец, тарелок и подносов с гербами разных семейств. На стойке – два совершенно новых блестящих самовара, испорченных только лишь черными учетными цифрами, нанесенными прямо на зеркальные их бока. Пахло просто и знакомо – кислой капустой и трехдневным бульоном из двери, ведущей в кухню, где мелькал серый халат буфетчицы Марты.

За буфетом красовался кабинетный рояль черного лакового цвета с отбитой ножкой, под которую заботливо был подоткнут кирпич, выкрашенный черной гуашью. На табурете уже уместился музыкант – еще один здешний жилец – в коротком клетчатом пиджачке с протертыми локтями и с пенсне на носу. Он листал страницы партитур, слюнявя пальцы и близоруко щурясь, брал ноты «Летней порой, меж роз душистых». Однако сие заведение даже предполагало музыкальную программу! Пианист скорее всего играл за тарелку супа, если не просто потому, что не мог не играть. Как это было в стиле нынешних времен – разруха под звуки старого французского романса!

В трактире уже толпились посетители. Кто-то дулся в карты, кто-то распивал портвейн, местный художник с перепачканными в краске руками, нависнув над тарелкой, торопливо хлебал суп. Через стол расположились охотники в высоких сапогах и кожаных куртках, оставив свои ружья к окну. И только один посетитель стоял у стойки. Грених заметил спину, согбенную и обтянутую черной шинелью с высоко поднятым воротником и полосатым шерстяным шарфом вокруг шеи. Уронив протертые локти на столешницу, он гипнотизировал пустую рюмку.

– А, Зимин, милый друг, не ожидал тебя сегодня здесь повстречать. – Кошелев хлопнул бедного Зимина по плечу, заставив того подскочить. Это был немолодой человек, может, и одних лет с литератором, но выглядящий старше своего возраста, наружности очень уж болезненной и крайне потертой. Желтое лицо, глаза с потухшим взглядом и ярко-желтыми белками, темные, отросшие и давно не ведавшие ни мыла, ни гребня волосы, жидкая бородка клинш-

ком – этакий истасканный Чехов без пенсне, занемогший вместо чахотки хронической желтухой.

– Знакомьтесь, товарищ Грених, ответственный секретарь редакции местной периодики. Пишет первоклассную, едкую и пронзительную критику, слагает роскошные сонеты и все еще верит, что поэзия жива. Как по мне, это, увы, полусгнивший труп. После «паспорта из штанин» Маяковского и его же «плевочков» я в стихи больше не верю. Газету вашу, Дмитрий Глебович, не читает никто-с только потому, что вы, как причастный, как издатель, совершенно не интересуетесь модными веяниями. Напечатали бы мою «Песнь солнца», дело, глядишь, и пошло бы. Сколько в ней революционной экспрессии, пролетарской мощи, коммунистических идей!

Секретарь слабо улыбнулся, а Грениху чуть заметно кивнул. Но даже это небольшое движение головы заставило его скривиться и побледнеть. Печень его была, скорее всего, ни к черту. Белки глаз отливали такой желтизной, что он походил на старую пантеру в черной своей шинели. В пальцах заметен был легкий тремор.

– Я не заведу газетой, Карл Эдуардович, я всего лишь секретарь, – буркнул он.

– Э, нет, вы – ответственный секретарь, а это – другое.

– Давно вам говорю, идите напрямую к Борису Анатольевичу...

– Борис ваш Анатольевич меня с руками и ногами... А мне хотелось, чтобы непременно *tu lui as demandé pour moi* – похлопотали за меня, несносный перфекционист!

– Ваша повесть не годна к публикации, прошу простить, – отрезал Зимин и отгородился от назойливого литератора локтем, еще больше навис над рюмкой.

– *My God, this is an outrage!*<sup>11</sup> – всплеснул руками Кошелев.

– Много следов поспешной работы: один и тот же предмет называется пистолетом и револьвером, герои в 1799 году цитируют Гомера в переводе Жуковского, неаккуратно вводится прямая речь.

– А еще я путаю версты и метры, роспись с подписью, глотаю буквы и даже целые словосочетания. И что с того?

– Поспешить с изданием такого небрежного текста – значило бы поставить крест на всех следующих ваших книгах.

– Прошло уже столько лет! Никому эти мелочи не надобны. Всем подавай любовь, кровь, смерть на фоне классового неравенства и стремления к социализму... И «Красная новь» тому подтверждение, в котором... – Он резко повернулся к Грениху, остановив свою обвинительную филиппику, снизил тон с высокого к доверительному и дал справку: – Это толстый журнал – «Красная новь», в нем напечатали мой роман, написанный в эмиграции «Синдром Гоголя». Воронский посчитал его революционным. Вечная тема отношений между читателем и писателем!

Дубовая дверь отворилась, дохнуло влажностью, и вошла заячья шуба. Кошелев незамедлительно представил Константину Федоровичу председателя исполкома Маричева. Профессор жал руку, отведя взгляд в сторону, про себя отметив, что местные власти решат, что либо он из ГПУ с проверкой, либо зазнавшийся. Сорок лет скоро, а до сих пор как гимназист. Волнение меняло цвет глаз, что всегда играло против него, выдавая природную стеснительность, которую он старательно крыл толстой коркой льда.

Председатель – под шубой он был в рубаше с пришитыми шеvronами краскома и начищенных сапогах со шпорами – холодно Грениха не смутился, показался тому развязным, бывалым – чувствовал здесь свою власть. С громом, по-генеральски, точно являлся по меньшей мере градоначальником, велел Вейсу накрывать к ужину в столовой. Кошелев тянул за локоть секретаря, никак не желающего ни с шинелью своей расставаться, ни отходить от стойки.

---

<sup>11</sup> Боже мой, это неслыханно! (англ.)

– Холодного мне пуншу, со льдом! – крикнул Карл Эдуардович в спину бедному Вейсу, готовому попевать везде и всюду и терпеть антисоветское, почти крепостническое, к себе отношение. – А приятелю моему горячего, с кипятком. И винную карту.

– Да, как же, пуншу, ага, уже закипает, – ворчливо удалился завхоз.

И все четверо прошли в следующую залу, обставленную, как небольшая столовая, но не как нынешние столовые нарпита, которых развелось в Москве в невероятном множестве, где кормят по талонам лапшой на постном масле, а такую, как в старых пансионах, где обычно дружно столовались одной большой компанией. Посредине царствовал обеденный стол с фигурными ножками на полдюжины гостей, стены также обшиты деревом, со следами стараний затереть изъяны, тот же старый, пыльный велюр вперемежку с бумазеей. И особый изыск – гуашевая фреска во всю стену знакомой руки: «Хлеб – всему голова» с наставительной припиской «Мойте руки перед ед...»; «ой» безжалостно был смыт потеком – в номере на втором этаже: видно, прорвало раковину.

Из залы широко были раскрыты двери в комнату, которая вмещала небывалую для города роскошь: ансамбль из нескольких ломберных столиков, стол для бильярда и еще один рояль, ножки которого были целы, но инструмент стоял с опущенной крышкой, видно, был неисправен.

Безжалостно Грених был втянут в эту маленькую компанию. Он пытался уклониться, ничего у него не вышло, почтенный председатель исполкома не хотел слышать отказа и грозился обидеться. Ждали еще нескольких человек, но те запаздывали. Кошелев назвал имена начальника милиции, которого, видно, задержали общественные дела, вечно хмельного городского врача, исполняющего роль судебного медика, – тот сегодня не явился в больницу, и в результате померла гражданка Сернова.

– Это хорошо, мы сегодня на кладбище нашем похоронную процессию не застали, верно ведь, Константин Федорович, – рассмеялся Кошелев, по-хозяйски разливая в стаканы портвейн. – Видно, Аркадий Аркадьевич смертью пациентки Зворыкина и занят.

– Карл Эдуардович в поисках вдохновения опять ноженьки морозил? – съязвил председатель. – Гляди у меня, зять с отмороженными конечностями мне не нужен. Не смотри, что позволил в номера съехать.

– Я сам себе позволил. Тут пишется лучше.

Грених поймал себя на мысли, что, пожалуй, Кошелеву и удастся отвоевать обратно свою фабрику, если этим займется сам председатель. Хотя у того были и свои, наверное, какие-то тайные резоны. Пользуясь служебным положением и значительной удаленностью от губернского исполкома, он пудрил эмигранту мозги, как и Вейсу, коему пообещал часть акций товарищества, в которое вошла многострадальная гостиница немца. Путаная-перепутаная система кооперативов, товариществ, хозрасчета и подоходного налога позволяла власть имущим комитетам манипулировать основными массами населения, провалившегося после попытки воцарения всеобщего равенства в самые бездонные низы бедности, и жонглировать конфискованным имуществом благодаря умелой взятке.

Загадкой был и брак его дочери с больным на голову литератором, все достоинство которого сводилось лишь к тому, что он случайно попал в круги модных московских памфлетистов-романистов. И если б Офелия любила его – тогда понятно, но у той, как оказалось, имелось пристрастие к Зимину. О нежной дружбе дочери председателя исполкома и секретаря никто не посчитал нужным умолчать. На голову Грениха вылилась целая чаша подробностей личного характера, о которых он предпочел бы не знать. Но безжалостные и совершенно бестактные его собеседники, не щадя ушей ни гостя, ни бедного Зимина, продолжали рассказывать, как Офелия Захаровна прежде обивала пороги редакции местной газетенки и как в ответ Зимин топтался под окнами дома председателя на Краснознаменской улице, а кончилось все это записью в книгах ЗАГСа, но с Кошелевым.

Грених ощущал себя попавшим не то в Содом, не то в Гоморру.  
Наконец явился Вейс с подносом и спас положение.

– Что это у нас сегодня? Свиная рулька, кулебяка, котлеты из... из чего они? – взвизгнул вдруг писатель, наморщив лицо, как пельмень. – Это что же такое, где моя чинённая шпинатом репа? Где макароны с морковью? Я придерживаюсь вегетарианской диеты.

– Рулька не про вас, – махнул вилкой Захар Платонович. И добавил в сторону Грениха, как бы с ним секретничая: – Не едает зятек скоромной пищи и питья, не едает.

– Я придерживаюсь вегетарианской диеты, – настойчиво повторил Кошелев. – А говорить «скоромная пища» и «питие» удел попов и тех, кто застрял в прошлом веке. Мы вступили в двадцатое столетие, а вы все «скоромная» да «питие». А еще председатель городского исполнительного комитета!

– Карл Эдуардович, профессор в недоумении от ваших искрометных манер, – отбился председатель. – Уж могли бы при товарище из столицы не распускать своего павлиньего хвоста и церемонии свои театральные оставить. Константин Федорович, вы простите зятка моего, такую порой несумятицу мелет.

– Сумятицу, папенька, – осклабился литератор, поправляя его.

Грених отвел глаза, но тотчас нашелся:

– Долгое время брат мой тоже был сторонником вегетарианства.

Кошелев вскинул голову.

– Это был его эксперимент, – поспешил добавить Грених, выдавив полуулыбку и по-прежнему пряча взгляд. – Он врач.

В лице Кошелева промелькнуло уже знакомое Константину Федоровичу выражение искренней осмысленности – будто спросить о чем-то рвется душа, но язык не дает. Оно было как вспышка, являлось и тотчас сменялось гримасой гадливости, пресности, надменности, какие не покидали лица Кошелева, казалось, даже когда он спит. Или это позерство такое, черт разберет – люди искусства такие воображалы. Потом Грених вспомнил Макса и стиснул зубы: нет, не позерство...

– Вот и верно, – Кошелев кивнул, будто то самое выражение стряхивая с лица. – Это очень освежает мозг, дарует ясность. Не представляю, как можно питаться падалью... Но позвольте... что значит «был»? Он что же, вернулся к?.. Поэкспериментировал и все? – Писатель был непревзойденным мастером сыпать бесцеремонными вопросами. Не договорив, он скривил губы так, будто ненароком проглотил поганку.

– К сожалению, его эксперимент оказался неудачным, – терпеливо молвил Грених и взялся за нож и вилку, полагая, что ответил исчерпывающе.

– Вот как? – Карл Эдуардович так не считал. Он отложил прибор и, опустив локти на край стола, сложил пальцы домиком. – Будьте любезны, поведайте нам о результатах исследований вашего брата.

Внутренне вознегодовав, Грених тотчас решил излить на беспокойную голову литератора всю лживую подноготную новомодного, с легкой руки Льва Толстого, веяния отказа от, увы, необходимых для полноценного существования продуктов. Веяния, которое притягательно больше чувством неприкрытого самоуслаждения своей высокой добродетелью и нравственным превосходством над другими, чем оздоравливающей составляющей.

Грених тоже отложил прибор и, повторив жест литератора, сложил вместе кончики пальцев, стрельнул из-под спутанных волос ядовитым черно-зеленым взглядом, от которого писателю стало сразу не по себе. Его лицо вытянулось и побледнело, а сам он отшатнулся.

– Он едва не отдал богу душу, – начал вкрадчиво Константин Федорович с неприкрытой елейной насмешливостью. – Поначалу отказ от мясных и молочных продуктов принес зримую пользу. Ощущение легкости, будто крылья выросли, масса энергии и сил, спать совершенно не хотелось, работал, как заведенный автомат со встроенным механизмом вечного двигателя.

Но то было лишь кажущимся улучшением самочувствия. Пять лет он прожил, полагая, что лучшее решение в его жизни – витализм и питание лишь растительной пищей в сыром виде. Уверенный в своей правоте, он не замечал, как принялся медленно превращаться в живой труп, да простят меня господа за неприкрытую физиологию, не к столу помянутую.

– Нет, нет, – затряс подбородком председатель исполкома, так что заходили ходуном красные в прожилках щеки, от удивления пропустив мимо ушей «господ», слетевших с уст судебного медика. – Продолжайте, м-может, затек и образумится. Ему неведом настоящий голод, который мы застали каких-то четыре года назад. Две зимы вареными ремнями и кожей сапог питались. Это сейчас – рулька из свинок из соседнего процветающего совхоза, это сейчас – доброе зерно и крымские вина! Продолжайте, товарищ профессор. А то они мне тут нарожают больных дитятей. Вон какой бледный, как бумага. Что там с неприкрытой-то физиологией? Умер брат ваш, что ли?

– Не остановись он вовремя, – продолжил Грених, – непременно умер бы и стал бы экспонатом для анатомирования в какой-нибудь медицинской школе для урока наглядной демонстрации того, какой вред наносит добровольное истязание себя голодом. Сначала его клонило в сон везде, где только можно и нельзя, однажды, было дело, едва не заснул в анатомическом театре при студентах, чуть не клюнув носом в кишки. Он мерз в самый жаркий полдень июля – организм сигнализировал об отсутствии важных строительных элементов для клеток и тканей. Он отчаянно пренебрегал сигналами тела, полагая, что на него всего лишь нашла усталость.

Кошелев сидел, как загипнотизированный.

– Гематологический синдром снижения уровня гемоглобина в крови – железосодержащего белка, – продолжал рубить профессор, – принимал формы снежного кома, несущегося с отвесного склона. Уровень гемоглобина падал, а с ним теряли цвет кожные покровы, волосы – естественную пигментацию, а мышечные ткани – силу. Он превращался в живой труп. Дошло до того, что не мог удержать в руках и простой обеденной вилки. Трижды ломал кости там, где у другого был бы ушиб. И костная ткань не спешила срастись в установленный физиологией здорового человека срок. Это следствие дефицита кальция и цинка. Следом он стал страдать забывчивостью, снижением концентрации внимания и, самое важное, сделался чрезвычайно, до грубости раздражительным, заговаривался, нес чушь. Это сказывалось отсутствие йода. Он страдал сердечными болями, желудочными коликами, совершенно не переносил света. И когда стал слепнуть, наконец понял, что на этом довольно.

Живую проповедь профессора Кошелев выслушал, затаив дыхание и не отрывая от него внимательного взгляда. Председатель исполкома хотел было что-то добавить, но, заметив этот длительный взгляд, которым обменялись судебный медик и его зять, решил, что не станет мешать ученой беседе. А может, Кошелев слушает?

– И что же он... только лишь поэтому вернулся к... – Кошелев скривился, будто его опять прихватил спазм. – Даже говорить о таком... Пфф!

– Это было непросто. Пришлось себя заставить.

– О! – Кошелев сочувственно вздохнул. – Заставить? О!

– Вот тебе и «о». – Маричев отправил вилку с рулькой в рот и стал интенсивно жевать, словно от работы его челюстей зависело, поймет ли зять увещевания товарища Грениха.

Кошелев посмотрел в задумчивости на посеревшую лепнину потолка. Потом вновь поглядел на Константина Федоровича.

– Кроме него кто-нибудь еще принимал участие в этом эксперименте?

– Некоторые мои пациенты из психиатрической больницы в Москве. Но их тоже удалось вернуть к здравому рассудку и заставить нормально питаться.

– Ба! – открыл рот Карл Эдуардович. – Вы практиковали в психиатрической больнице, да еще и в Москве! Где? Неужели в Преображенке под началом самого Баженова?

– Вы угадали.

– Это же находка! Я к нему ходил, он меня смотрел. Хм, как интересно. А вы все-таки слухавили, сказав там, на кладбище, что учитесь на рабфаке, я догадался. Вы, оказывается, психотерапевт! Я от вас нынче не отстану, готовьтесь изложить мне всю подноготную ваших практик. Поведайте мне какие-нибудь исключительные случаи.

И с яростью приступил к макаронам.

– Нет, – с набитым ртом продолжил он, – мне положительно сегодня везет. Я, кажется, скоро добыю свою книгу. А насильно вы привлекли к исследованиям пациентов? Мучили голодом, электричеством? Насильно? Своих пациентов.

– О нет, не возводите, Карл Эдуардович, напраслины на профессию врача. Никто в больнице насильно ничего не делает. Но важно различать, рисуется больной, симулирует или же его действительно нужно лечить. Пациенты вполне добровольно обрекали себя на диеты. И были у них к тому разнообразные причины. От поэтических и моральных, космических и совершенно невообразимых до последствий тяжелых травм от пережитого горя. Это были самые настоящие ультиматумы грязному, несправедливому, бесчувственному миру и отчаянная попытка себя загубить. Это были поиски новых метафизических формул и искреннее безразличие. Это были притворные стремления приблизиться к божественному, припорошенные высокопарным философствованием и цветистыми рассуждениями о морали и даже логике, и, увы, настоящее, не деланое и оттого страшное помешательство. Дабы защитить свои эфемерные замки, чаще, чем можно себе вообразить, больные прибегали к морали, но порой обходились и без нее. Иногда пациентам казалось, что они достигли успеха в своих убеждениях. А я пытался исправить все их заблуждения. Против грубой, пошлой, прямой, как топор, но в то же время гибкой и до конца непознанной человеческой физиологии нет средства, кроме как слушать ее и слепо ей повиноваться.

– Врач может заставить?

– Да.

– Скажите пожалуйста! Это вы на мое вегетарианство намекаете? – осклабился Кошелев. – И падалью питаться заставить меня можете?

– Не намекаю, а прямо говорю. Коли грубая физиология требует в топку особого вида топлива, то суррогат, увы, отвергнет. Отвергнет и залепит пощечину, жар которой ощущать будете долго.

– Да что вы говорите? Потрясающе! Нет, действительно, потрясающе. Вот, гляди, Митя, – Кошелев ткнул локтем в плечо Зимина, – о чем надо писать. О да, не к столу, конечно же, но потом я просто... я... j'oublierai – забуду. А научите нас, товарищ Грених из Москвы, бальзамировать трупы. S'il vous plaît!

– Карл Эдуардович! Кажется, вы плохо слушаете, психотерапевты не бальзамируют тела, а лечат души, – осек зятя председатель. Маричев остался глубоко впечатленным рассказом Грениха. Прежде довольное и расслабленное лицо его сделалось задумчивым. Карл Эдуардович же остался как будто глух к открытому призыву профессора, хотя вид, с которым он его слушал, говорил об обратном.

Профессор сидел вполоборота, опершись ладонью о стол, будто собирался подняться и откланяться. Он глядел на Кошелева черным от внутреннего напряжения глазом из-под пряди волос, которая вечно падала на лицо, а он не убирал ее, надеясь, что это чуть скрадывает его недостаток. Наверное, он со своим двухцветным взглядом казался каким-то демоном-нравоучителем. Но он не хотел поучать, все это спонтанно, случайно и не к месту! Надо уйти и больше не принимать участия в том, что его не касается. Пушечный залп, на который он истратил столько сил, ударил мимо, длинная утомительная проповедь прошла впустую. Кошелев погряз в каких-то заоблачных фантазиях и готовился вновь ответить очередной пустопорожней чушью.

– А что вас так сконфузило, дорогой тесть? – Кошелев резко накинулся на председателя. – На войне, поди, и не такие физиологические подробности встречались? Константин Федорович, не стесняйтесь, рассказывайте. *J'ai besoin de ça pour le livre*<sup>12</sup>. Я вот совершенно бесчувствен к таковым вот оголениям физиологии. Я, наверное, бесстрастно мог бы прикончить кого-нибудь, а потом забальзамировать тело и придумать ему какое-нибудь головокружительное приключение.

– Карл Эдуардович, – вновь прогромыхал Маричев. – Ну что за...

– Вы знали, за кого выдаете дочь. Литература изрядно потрепала мне нервы, дорогой тесть. Я не скрываю своего нездоровья. И, наверное, не отказался бы еще раз пролечиться в психиатрической лечебнице.

– Если вас заинтересует... – вдруг решился Грених, перебив писателя, который рисковал в своих излияниях зайти слишком далеко. – Я мог бы предложить вам на суд свое небольшое произведение.

Он вдруг решил, что расскажет о брате, как о третьем лице, да еще и вымышленном, тот может стать отличным примером для эксцентричного литератора. Карл Эдуардович имел болезненное пристрастие все время сводить беседу к своей литературной деятельности, кажется, имеющей оттенок психического нездоровья, причем старался казаться как можно безумнее. Грениху пришла идея познакомить его с точно таким же одержимым, но настоящим. Метод зеркала всегда действовал безотказно. Кошелев, несомненно, найдет в Максиме черты, присущие ему самому, что заставит его призадуматься. Финал той повести был печален, но Грених готов был пойти на обман и представить пациенту счастливую концовку.

– Только не говорите, бога ради, не говорите, что вы тоже пробуете свое перо на прочность, – опять скривился альбинос, болезненно сжав уши.

– Это мой первый опыт, – врал Грених. – Я прежде никогда не задумывался облечь некие эпизоды моей скромной жизни в слова. Вы, кажется, интересовались психотерапевтической практикой. Моя повесть содержит много любопытных для вас деталей.

– О чем же... *votre* повесть?

– О том, как я и мой пациент – одаренный исключительной проницательностью – столкнулись с проблемой циркулярного психоза. Повесть о гипнотерапевтическом методе.

– *C'est intéressant!*<sup>13</sup> Погодите-ка, о каком методе? Гипнотерапевтическом?

– Да.

– Вы хотите ее зачитать нам? Ни в коем случае. Я сегодня не в силах что-либо слушать. Хотя про гипнотерапевтический метод знать хочу. Можете коротко? В двух словах!

– Карл Эдуардович, как всегда, капитулирует из страха услышать что-то гениальнее его самого, – бросил секретарь. Все, как по команде, перевели на него глаза.

Это была единственная реплика Зимина за весь вечер. Он сидел, уронив локти перед собой. К еде и не притронулся. Порой зажимал рукой рот, будто преодолевая волну дурноты. И сейчас, едва проронив свою шпильку, спрятал рот за ладонью. В словах его звучала не столько обида, сколько утомление.

– Вот эти *votres* слова... – вскинулся на него литератор, будто только того и ждал, чтобы наконец перевести на него свой огонь. – Вот эти *votres* злые речи! Знаете, что, Зимин, они полностью раскрывают вашу горькую сущность. Вы рассуждаете, как ярый представитель класса непризнанных гениев, кто за неимением собственного вдохновения порицает плоды чужого. Эта порода мне хорошо известна – знающих наверняка, как надо, как лучше, как должно быть. Вы, Зимин, – он вырос над столом, тяжело опустив обе ладони на скатерть, – Сальери!

И сделал многозначительную паузу в надежде на ответный выпад.

---

<sup>12</sup> Мне для книги необходимо (*фран.*).

<sup>13</sup> Как интересно! (*франц.*)

Зимин не искал сил отвечать, продолжал устало таращиться на белизну прибора. Председатель все еще жевал свою рульку, насмешливо косясь на зятя. По чертикам, плясавшим в глазах, было видно, готов пустить остроту, но ждал, чем кончится сей припадок ярости зятя.

– Зимин, я лишь одного хочу избежать, чтобы повесть моего почтенного нового знакомого не была измарана публикацией в вашем «Вестнике Зелемска», – Кошелеву пришлось смягчить тон и вернуться на свой стул. К превеликому его сожалению, никто не подхватил его гневных речей, и Моцартом назваться случая не выпало.

– «Вестника» давно уж нет. Наша газета называется «Правда Зелемска», – промычал секретарь.

Кошелев демонстративно развернулся к Константину Федоровичу и растянул губы в неестественной улыбке. Он нервозно вертелся на стуле, не переставая, одергивал свою шелковую жилетку, сучил ступнями, будто страстно желая по малой нужде, порой его мучила одышка. Видно, следствие употребления гашиша. Взвинченный, издерганный, непоследовательный. Мало-помалу накачивала на Грениха волна неуютного напряжения. Если прежде он ощущал лишь негодование, то теперь, ясно осознав, что перед ним больной, насторожился и был готов к любой выходке – от внезапного обморока до какого-нибудь приступа. Больной истерией, ведь что дите малое, мог выкинуть какой угодно фокус – с легкостью швырнуть что-нибудь, смахнуть приборы со стола, кинуться с кулаками, устроить истерику, а то и упасть с эпилептическим припадком. Мысленно Грених приготовился к худшему.

Все еще поглядывая на Константина Федоровича с негодованием и толикой осуждения, Кошелев вдруг вскинул руку и попросил еще портвейна. Стоявший за спиной Грениха Вейс метнулся к двери. Константин Федорович успел того остановить и коротко осведомиться, чем занята его дочь. Получив исчерпывающий ответ, что девочка в кухне, лепит из теста, предназначенного для кулебяки, снежную бабу, успокоился.

– Прошу, присмотрите за ней, – как можно тише сказал Грених, – все расходы за все незапланированные снежные... кулебяки будут покрыты. Только не выпускайте ее из виду!

– И когда вы ее написали? Вашу-то повесть? – обратился Кошелев, как только неутомимый Вейс вышел.

– Сегодня ночью, – натянуто улыбнулся одной половиной рта Константин Федорович.

– Ах, сегодня ночью. Какая прелесть! Вы ее что, за ночь написали?

– Да, за ночь.

– Вот дела! Я тут уже третью неделю над одним абзацем бьюсь, а профессор – за ночь повесть. Зимин, вы можете оказаться правы. Константин Федорович наверняка написал что-то стоящее. У вас детективная история?

– Повествовательная. – Грених уже проклял себя за то, что решился познакомиться больного со своим несчастным братом, но его лицо было непроницаемым, и говорил он ледяным и терпеливым тоном домашнего воспитателя, которому достался в ученики избалованный барчонок.

Кошелев скривил мину и наклонился к Зимину.

– Профессор не смыслит в жанрах ровным счетом ничего, хе-хе.

Потом выпрямился и торжественно протянул руку, подражая Ленину.

– Вещайте! Тем более подоспела еще пара бутылок этого красного крымского портвейна. «Массандра», конечно, не шато-лафит, но лучше, чем ничего. Мы все – внимание. Ох, и вот наши дивные посиделки превратились в литературный вечер... Кто бы знал, кто бы знал, как я их не выношу.

Грених откашлялся, мысленно представил себя за кафедрой перед студентами, чтобы избавиться от неприятной дрожи в голосе, – никогда прежде он не читал вслух произведений собственного сочинения, которые к тому же приходилось сочинять на ходу. Ей-богу, сказка на ночь от старого скучающего судебного медика с прошлым психотерапевта. Но того требовала

воспитательная терапия. Грених замыслил провести ее в отношении своего нового знакомого, чтобы, возможно, раз и навсегда отвадить от игр с собственной душой. С душой шутки плохи, но понимают это пока только врачи, и то не все. «Это всего лишь вынужденная терапия», – внутренне успокоил себя он и заговорил.

Председатель исполкома и секретарь слушали с большим интересом. Как провинциалы, они были мало знакомы со столичными медицинскими методами, в которых присутствовало даже что-то от цирка. Зато Кошелев сразу заскучал, он окончательно извелся на своем стуле, тер глаза, подбородок, расширял воротничок, а потом в конце концов снял галстук, пил вино бокал за бокалом, один раз даже пролил полбутылки на скатерть, вскочил, громко извинялся, принялся закидывать расплывающееся на белизне стола пятно салфетками, нервно закурил трубку, вынутую словно из ниоткуда, ходил взад-вперед за спиной Зимина, бросая ничего не значащие реплики вроде: «Какая прелесть!» или «Какой неожиданный поворот!». А когда Грених закончил, тотчас с отчаянным остервенением рубанул:

– Это все и яйца выеденного не стоит... *c'est votre* повесть. Я бы больше не стал ничего читать у вас, честно. Вы только обижаться не смейте. Скукота отчаянная! Ни красок, ни действия. К тому же сюжет не имеет никакой художественной цены. Что нового вы привнесли в литературу? Что добавили от себя? И где же, с позволения вашего, детективная загадка? Сказка! Детский лепет! Нет, это совершенно нельзя публиковать. Детали, обстановка, атмосфера, быт... Ничего этого нет. Нынче, знаете, модно писать о победе революции, об отчаянных негодях, которых удалось обратить в коммунизм, об утопленниках, восстающих из речной пены, идущих строить светлое будущее. А вы что? Про психиатрическую больницу и какого-то шального врача, любителя ставить на людях опыты? Он вас, кстати, безбожно использовал, вы это хоть поняли? Он гипнозу на самом деле не поддавался. Не поддавался! Все вами рассказанное невозможно в жизни. Да и что в этом может быть поучительного?

– Позвольте, – Зимин поднял голову, собрав остатки воли. Грених, несмотря на жесткость суждений, остался холоден к подобной критике. Ему, хорошо знакомому с многообразием психотипов, была ясна позиция Кошелева, уязвленного встречей с воображаемым и нафантазированным собой, которого удалось излечить, удачно направив мыслепоток в нужное русло. Но секретарю показалось бесчеловечным осуждать историю, принявшую оттенок исповеди. Все прекрасно понимали, что Константин Федорович ничего не сочинял и поведал о своем опыте в гипнотерапии, весьма интересном, в чем-то пугающем. Нормальный, здоровый человек не мог остаться равнодушным к факту, что, погрузив пациента в сон, можно внушить ему излечение. Да, это казалось фантастикой. Но наука, всесильная медицина шагала вперед, прогресс ее несся с ошеломляющей скоростью. И рассказанное Гренихом, хоть, увы, и приукрашенное, ведь на самом деле ни черта у него не вышло излечить брата, могло занять достойное место в психотерапии, заменить собой в будущем токи, холодные ванны, мрачные камеры, со стенами, обитыми войлоком. Это был более гуманный способ мозгоправства, чем те, которые царствовали в прошлом веке.

– Позвольте, – повторил Зимин; в глазах его сверкала неподдельная обида, – но ценность произведения как раз и состоит в его историчности. Подобно жизнеописаниям, биографиям и поучительной литературе. Как раз аналогичное я готов отнести на суд Борису Анатольевичу хоть... завтра, коли Константин Федорович не против. Это невероятно! Чтобы человек очнулся после сна абсолютно здоровым психически – сюжет почти библейский.

Грених поморщился; ему вовсе не хотелось выслушивать еще и от Бориса Анатольевича.

– Библейские сюжеты вышли из моды, – бросил Кошелев. – Любая аллюзия на Иисуса или Моисея – нынче, увы, дурной тон. Писатель должен сам, без помощи сторонних фактов и отсылок к Священному Писанию, порядком набившему оскомину, вводить читателя в экстазы, восторги и самозабвение согласно политическим воззрениям современности, разумеется. Фантазия писателя обладает столь великой силой, что любое написанное способна претворить

в жизнь силой слов и умело собранных из них выражений. У вас же наоборот. Случилось – написал. Оттого-то за одну ночь и управились. Я вам таких повестей сколько угодно состряпать готов. Вы только с угрозыском договоритесь, чтобы архивами поделились. Дело за делом буду вынимать и детективные истории множить. Но в бумажках этих нет ни чувств, ни переживаний, ни выпуклого персонажа, способного оголять шпагу и вершить суд над врагами, к слову сказать, не менее яркими, нежели положительный герой.

– Нет ничего ценного в досужем вымысле, – разгорячился оскорбленный секретарь, кажется, принявший негодование литератора слишком близко к сердцу, что избличало в нем душу ранимую и тонкую. – Воспеваемые вами модные веяния принесли тьму бульварных романов еще в те, старые времена. И эта тьма, подобно саранче, заполонила полки книжных магазинов. Она же колдовским магнитом тянет к себе огромное число подписчиков из тех, кто предпочитает бульварные журнальчики выпуск за семь копеек. Какого труда стоит среди этого хлама, срок существования которого день-другой, сыскать что-то стоящее, действительно глубокое, потрясающее, волнительное, способное вывернуть душу и сжать сердце. Единицы! Единицы, кто может творить в жанре социального реализма. Словом, делать хо-рошую литературу.

– Чем вы заслужили хорошую литературу? Вы сделали нечто великое? Спасли сотню жизней? Что вы дали миру, чтобы требовать взамен нечто хорошее? Вы даже, как я слышал, в четырнадцатом не призывались. Что вы знаете о реализме, сидючи в вашем гробу над редакцией, – выпускал пулеметные очереди Кошелев.

– Что же предлагаете миру вы? – парировал тот. – Читать про упырей, русалок, про вздорных сыщиков из вашей избалованной гашишем Англии, про восставших из загробного мира, про Дьявола в человеческом обличье, пытающегося противостоять большевикам? Сей персонаж, между прочим, вымышленный, как уже нынче доказано атеистами, именно он порядочную оскомину и набил, а жанр умер вместе с Леонидом Андреевым, которому вы подражаете.

– Ах, вы на моего «Фихтнера» намекаете? Ошибаетесь, дражайший Дмитрий Глебович, это вовсе не оскомина, а тот самый маячок верности намеченных ориентиров в искусстве. Ведь то, что привлекает массы, то и истинно.

И вновь вскочив, он развел руки в стороны.

– «И вот толпа идет, довольная, домой. Смелее все в куски мельчайшие крошите – и этот винегрет успех доставит вам, – подражал он шпрыхталмейстеру, нервно дирижируя руками. – Легко вам выдумать, легко представить нам! Что пользы, если вы им «целое» дадите? Ведь публика ж его расщиплет по кускам»<sup>14</sup>.

– «Смешно, когда поэт зовет великих муз к ничтожной цели!»<sup>15</sup> – тихо парировал Зимин, опустив голову к тарелке, делая вид, что дальше говорить с Кошелевым не намерен.

Но тот не унимался:

– И, позвольте... – Он шлепнулся на свой стул. – Опять вы нападаете на моих русалок и упырей, и вовсе безосновательно. Уж коли *personnage de principal*<sup>16</sup> – упырь, так, что ли, чувств он не имеет никаких? Попробуйте проникнуться чувствами существа, осознающего свою смерть. Да и как иначе, если не через метафоры и сказочные сравнения, аллегорию, гиперболу и емкую литоту передавать истину в ее нетронutom девственном величии?

– Ложь, блажь, фантазии – не те покрывала, в которых мы хотим видеть сегодня истину, – Зимин сошел на стон, сжав кулаки, – за которую, между прочим, кто-то заплатил кровью, сражаясь на баррикадах! И это, позвольте, совершенно невозможно, все равно что в ледяную колбу погрузить пламя. Никому не дано описать переживание смерти. Ваш роман – не искусство, а

---

<sup>14</sup> «Фауст» Гете в переводе Н. А. Холодковского, 1878 год.

<sup>15</sup> «Фауст» Гете в переводе Н. А. Холодковского, 1878 год.

<sup>16</sup> Главный персонаж (*франц.*).

очередная попытка игры на том, что никому не дано испытать. Все глупо-глупо-глупо. Увы. Реальности – зеро, сопереживания – ноль.

Зимин даже привстал, сыпля ответным огнем, но, поймав взгляд Грениха, устало опустился на стул и с неохотой вымолвил:

– Впрочем, мы все, старея, ищем выход. Надеюсь, вы нас еще удивите и порадуете.

Сказано это было с тонким и очень искусным намерением задеть.

– Искусству! – взвизгнул Кошелев. – Искусству позволено быть вздорным, нести чушь, дурачиться, дразниться. Искусству не позволено мямлить и быть невнятным. Любая чушь будет воспринята публикой на ура, коли подана она с твердой убежденностью и несгибаемой авторитетностью. А у вас же самого-то, Зимин, все «ме» да «бе».

И он с обезоруживающим артистизмом заблеял.

– Все ваши писульки вы продвинули, обернув в красный фантик. Что, я не читал ваших работ и не знаю, какими они были, когда еще не светило вам ни «Красной нови», ни «Пере-вала»? Да Асаев, уверен, смеется над вашими упырями. В каком разделе вас публиковали? Сатира и юмор? Продались вы советчине! – вскипел Зимин, окончательно позабывшись.

Грених вскинул глаза на председателя, но того разморило, он нахмурился, но не взъярился. Зимина было уже не остановить, в глазах Кошелева появился серый, плотный туман, но рот опять разъехался в усмешке.

– Красный флаг в руках – значит, правда с нами! – торжествующе рассмеялся он. – Сам-то, сам-то чем пичкаешь свою четырехстраничную «Правду»? Сколько гусей вывел соседний совхоз? Или страдальчески-биографические истории рабоче-крестьянского элемента? Ах, я позабыл, на последней странице у вас шахматные задачки собственного сочинения, а к ним чудный поучительный фельетон образцового образца – фельетон фельетонов! Мы оба легли под новый строй, только у вас это вышло не столь изящно, не так ли? И даже Офелия предпочла меня, лишь чтобы досадить тебе. Да забирай, подавись, баба с возу – кобыле легче. Мне ее жалость не нужна, пусть тебя жалеет, убогого.

– Ей-ей, полегче! – Маричев стукнул кулаком по столу, но попал по самому краю, получилось неубедительно. – Попридержи коней, зятек, с отцом жены своей сидишь за одним столом. Не посмотрю, что малахольный. Я как-никак председательствую в исполнительном комитете и могу, если совсем распоясаетесь, и перепоручить обоих, как хулиганов, милиции. Нет на вас Аркадия Аркадьевича сегодня.

– Ваш зять полагает, что коли тромбон звучит громко, то не слышно, как он фальшивит, – сквозь зубы бросил Зимин.

– Такие вопросы хорошо решать простым пари. – Председатель исполкома покровительственно опустил красную ладонь на плечо Зимина. – Пусть каждый напишет повесть. Вы, Зимин, пишите социальный реализм, у вас хорошо выходит про крестьянский элемент, а зятек пусть наконец закончит нечто свое фантастически-сатирическое. У товарища Грениха материал готов. И поглядим, кто прав. Устроим литературный вечер в исполкоме, созовем ученый свет нашего уезда, каждый зачитает свое творение. И честным голосованием решим, чья история правдивей окажется. Ну разве не ладное решение?

– Вы прямо-таки само воплощение царя Соломона, папенька, – осклабился Кошелев. – Да только не просто это. Возьми да настрочи нечто «фантастическое»! Уж если б было это так! Социальный реализм... производственный роман... могут быть состряпаны за месяц. А вот чтобы искрометность, сила, образность, а самое главное – одновременное присутствие духа времени и души повествователя!.. Требуется писать собственной... кровью!

Последнее слово он даже не выкрикнул, а взвизгнул, кинувши на тарелки салфетку. Отшвырнул стул и рванулся к двери. Но едва распахнул ее, вдруг обернулся и с искривленным злобой лицом выпростал указательный палец в сторону Зимина.

– Что ж! Я принимаю вызов, Дмитрий Глебович! Отправим на суд народа наши труды. Но уж потом не обессудьте.

В эту самую минуту в открытую дверь стремительно впорхнула женщина лет двадцати семи. Грених, всегда смотрящий вниз, увидел сначала ее узкие лодыжки в блестящих розовых чулках и ботиночки. Из-под полы пальто бежевого цвета, широкого кроя, выглядывала белая гофрированная юбка. Он медленно поднял взгляд, увидев белую шляпку-колокол поверх короткостриженной головки с выбеленными локонами, густо подведенные глаза под тонкими ниточками бровей и яркие пунцовые губы. Одетая, как московская модница со Столешникова переулка, женщина быстро-быстро застучала каблукочками, обходя стол и одновременно глядя поверх голов присутствующих строгим, взыскательным взглядом. В ее решительных шагах и движениях сосредоточился весь цвет новой эпохи дерзких и гордых барышень с коротенькими волосами и черным, туманным взглядом.

Остановившись за стулом Маричева, вошедшая вскинула ресницы. Пунцовый рот был строго поджат. Дочка председателя, супруга свихнувшегося литератора, не иначе.

– Что здесь опять произошло? – вздохнула она, понимая, что явилась в самый разгар какого-то скандала.

– Пошел вон, шарманщик! – выкрикнул Кошелев так, что жена его вздрогнула и отпрянула, прижав руку в кружевной перчатке к груди, губы поджались еще крепче, превратившись в пунцовую нить.

Кошелев повернулся к двери и тихим голосом продолжил, будто читая роль:

– И ты разворачиваешься и уходишь. Щемит сердце от боли. Но боль эта столь высока, что преобразуется она в некое подобие энергии, начинает сверкать и искриться, становится зримой и осязаемой. Дождем рассыпается, взвихряется ветром, сияет, как тысячи самоцветных камней, бьет молнией, шумит раскатами грома. И вдруг! открывает портал. И не в иные миры, а в твой внутренний мир. Он бескраен и необъятен. Это он шумел ветрами и рассыпался дождем искр, это он сотрясал сердце, будто громом. Ты – замороженный и восхищенный – переступаешь порог...

Кошелев демонстративно шагнул за порог, но ступил обратно, пересек столовую длинными, решительными шагами, подхватил руку молодой женщины, затянутую в кружево короткой перчатки, больно сжал, отчего та содрогнулась, и на мгновение прижал ее пальцы к своим губам.

– Куда ты, шарманщик? – опять он читал роль из вedomой только ему пьесы. – Но шарманщика больше нет – вы прогнали его.

Он отпустил руку жены, с его лица сошло выражение торжественности, и появилась какая-то мелкая тревожная озабоченность.

– Любопытно, – быстро проговорил он, будто самому себе, – а коли всему человечеству враз стереть память, а потом дать почитать Гоголя, останется ли почтенный Николай Васильевич после в сердцах и умах сего... мэ-э... человечества? Боюсь, что после сего эксперимента список гениев значительно сократится. Придется долго ждать, прежде чем он пополнится вновь.

И выбежал. Через секунду его нервные быстрые шаги огласили лестницу, с которой были сняты ковры, оттого эхо шагов по пролетам гуляло звонче обычного.

– Да что же все-таки стряслось? – Молодая женщина торопливо подошла к отцу, поприветвовав его, звонко чмокнув в щеку. Кивнула Зимину, задержала изучающий взгляд на Гренихе: строгая, прямая, знающая себе цену – прямо артистка немого кино.

– Ничего, душа моя, муж твой все забавляется. Принца Датского изображает. Али еще кого. Или ж опять вдохновения нет, ищет его повсюду. Езжали бы уже обратно в столицу. Чего здесь застряли?

Офелия Захаровна скривилась и не ответила. Но с ее приходом вечер был тотчас завершен. Она не хотела надолго задерживаться, всячески выказывая недовольство: хмурилась, отпускала холодные остроты, всплескивала руками, торопила с подъемом. По-видимому, ей не были приятны посещения родителем сего придорожного заведения. Она их не поощряла. Зато меж нею и Дмитрием Глебовичем состоялся короткий, но безмолвный диалог, не оставшийся сокрытым от наблюдательного Грениха. Зимин нет-нет поднимал голову, останавливал долгий, полный муки взгляд на гражданке Кошелевой, та не менее мучительно взглядывала в ответ из-под низко нависающей на глаза шляпки-клош, кусала пунцовые губы, обиженно вздергивала подбородком. Тонкие ниточки бровей ее тревожно вздымались вверх. В эти минуты образ дамочки со Столешникова переулка отступал, появлялся совсем другой человек – страстный, порывистый, влюбленный и несчастный.

Наконец председатель не без помощи дочери забрался в свою шубу, запахнулся. Она заботливо поправила под мехом воротник армейской рубахи, смахнув с груди крошки.

– Вы, Константин Федорович, захаживайте в гости, рады будем. Дочка у меня печет и варит – обедение. Даже, было время, давали домашние обеды у себя – тогда в городе народу жительствоваало побольше. Начальник первого отделения милиции столовался у нас, и здешний директор-распорядитель тоже, который нынче, как Фигаро, где-то пропадает. Вы захаживайте, дочка – кудесница по части кулинарии. Да по части всего! Цветы любит выращивать – страсть. Думала и в артистки идти, и торты стряпать. Но я не позволил. Советская женщина должна иметь достойную профессию. Учитель, врач... – И, не закончив мысли, шатаясь, вышел, прежде невнятно махнув оставшемуся за столом Зимину.

Стало тихо, только за дверью в трактире фонтанировал привычный вечерней суете шум, пианист играл какую-то пьеску, громко беседовали, спорили, смеялись.

Секретарь еще какое-то время посидел молча, уронив локоть на стол и вяло ковыряя вилкой нетронутый ужин. По лицу его пробегали страдальческие судороги. Видно, мучил его не только приход Кошелевой, но и больная печень. Потом он достал из внутреннего кармана порошок, проглотил, запив вином.

– Лекарство, – не поднимая лица, прокомментировал он. Встал и тоже откланялся.

Грених невольно испустил вздох облегчения, когда дверь закрылась и за ним.

Насыщенный и напряженный вечерок, ничего не скажешь. Тяжелое и неприятное впечатление произвело на него это маленькое общество, собиравшееся в гостиничной столовой и пронесшееся мимо ураганом. Ворвалось, побушевало и испарилось. Нервный и избалованный литератор в поисках музыки – яркий представитель сумасбродов; желтолицый секретарь, склонный к мизантропии, – личность таинственная и вместе с тем угрюмая, причем старательно свою вымученную мрачность возвращающая; председатель, умом не блещущий.

Вставая из-за стола, Грених было тоже направился к выходу. Но тут одна из пыльных штор взметнулась до самого карниза и с подоконника на ковер скользнула Майка.

– Это что, ты, получается, гипнотизировать умеешь? – громким шепотом прошипела девочка, бросившись Грениху наперерез.

Константин Федорович обмер на полушаге, мгновенно ощутив, как вся жизнь пронеслась перед глазами.

– Что ты здесь делаешь, маленькая проказница? – Он едва удержался от вскрика, произнес эти слова спокойно, но не без надрыва в голосе.

Майка подбоченилась и выставила ногу пяткой вперед, лицо скривилось в подобие улыбки. Улыбаться девочка совершенно не умела: дикий оскал, сморщенный нос и хитрый прищур – все это больше походило на надменную ухмылку сорванца, собравшегося обчистить случайного встречного в темном переулке. Грених подозревал, с болью в сердце размышляя о дочери, что напускная ее нелюдимость – следствие одичания и неумения испытывать искренние чувства. Психику ее придется долго и кропотливо восстанавливать, с хирургиче-

ским старанием сшивая и выравнивая все поврежденные нити и паутинки тонкой материи души, чтобы однажды увидеть, как большие черные глаза засияют неподдельным счастьем, когда за нарочитыми ужимками перестанет прятаться недоверие, страх, подозрительность, разожмутся кулачки, расправится недовольная складка на переносице.

Она оставила без внимания вопрос отца, но на свой ждала ответа – немедленного и исчерпывающего. Вся ее грозная поза с выставленной вперед ногой в перепачканном ботинке вопияла: Грених должен тотчас же отчитаться.

– Идем, – попытался увильнуть тот. Взял Майку за руку и потянул к двери. – Пора спать. Тебя накормили?

– Ты гипнотизировать умеешь? – Девочка ловко вывернула пальцы из руки отца. – Я все слышала!

– Подслушивать нехорошо.

– Все понятно. – Она сморщила нос и скрестила на груди руки. – Покажи, как ты умеешь гипнотизировать.

– Это было очень давно. Я разучился.

– Сказки! – с вызовом бросила девочка. – Покажи. Загипнотизируй меня, давай.

Грених горько улыбнулся. Вздыхнул. И, заложив руки за спину, чуть склонился к девочке. Долго он глядел в упрямые, прищуренные детские глаза. И та внезапно сникла и ожидающе втянула плечи, как сник Кошелев, когда Грених собирался поведать ему о губительном воздействии вегетарианства.

– Хорошо. Загипнотизирую. Заставлю тебя быть послушной, и ты перестанешь язвить мне. Я сделаю это сегодня. Я сделаю это завтра. Я могу каждый день внушать тебе посредством гипноза примерное поведение и приличествующие девочкам твоего возраста хорошие манеры. Но тогда ты станешь безвольной куклой. Хочешь быть марионеткой? Или все же останешься хозяйкой своих манер? Разве старшие пионеры тебе не говорили, что нужно тренировать свою волю?

Майка слушала с затаенным опасением. Но через мгновение в ее глазах опять вспыхнули вызов и прежнее недоверие, мол, рассказывай, старый пень. Но упоминание о пионерах все же заставило призадуматься, ее губы стянулись в трубочку, нос перестал морщиться, брови чуть взметнулись вверх. А что, если этот старый пень прав?

– А расскажешь мне еще раз? – Она смягчилась, сама взяла Грениха за руку и потянула к двери. – Обещаю сразу уснуть и не сбегу ночью на фабрику. Я собиралась сегодня туда. Но если ты мне расскажешь про гипноз, то я, может, и передумаю.

Сердце профессора, в присутствии дочери всегда испытывающее неприятную тяжесть, смахивающую на застарелую грудную жабу, пропустило удар, краска сошла с лица при заявлении о ночной прогулке.

На фабрику удумала идти! А ведь если задержимся здесь еще на день, то она свою идею осуществит.

Внешне строгий и невозмутимый, он, однако, ощущал себя совершенно беспомощным перед лицом этой тучки – целого грозового облака непослушания и прекословия, искрящегося электрическими нитями, беспрестанно бурчащего и каждую минуту готового разразиться раскатами грома.

Как опытный психотерапевт, Грених должен был признаться самому себе, что просто боится ее – собственной дочери. А неприятный сердечный симптом под ложечкой – это обыкновенная трусость.

Они поднялись на второй этаж. Майка шла, ведя пальцем по стенам со вздутой местами побелкой, ссыпая на потертый пол без дорожек щепотки белой пыли. В комнате сама стянула с себя ботинки, умылась, сменила платье на ночную сорочку. И, запрыгнув в свою постель, укрылась одеялом по самые глаза и крикнула Грениху, чтобы тот мог войти.

Константин Федорович уместился у изножья на стуле, опустил локти на колени, потер виски ладонями, приготовившись еще раз рассказать про гипноз, которым он лечил Максима от маниакально-депрессивного психоза, переложив слова на сказительно-былинный лад.

Но то ли повесть была скучной, то ли голос профессора был чрезмерно монотонный, то ли говорил он слишком тихо, спустя четверть часа из-за одеяла стало доноситься сопение. Девочка, утомленная дневным приключением, уснула.

Грених не поверил своим ушам. Спит? Неужто?

Чуть привстав, он вытянул шею, боязливо поглядел. Признаться, ожидал, что маленький чертенок просто разыгрывает его. А сейчас вскочит и как рявкнет, мол, чего не рассказываешь, говори давай. Но нет, дыхание ее было ровным, хоть и шумным из-за перебитой носовой перегородки, волосы чернильной кляксой расползлись по подушке.

Грених потянулся было рукой, чтобы поправить одеяло, но пальцы задрожали, рука сжалась в нервный кулак – а вдруг потревожит?

Ушел, едва ступая на цыпочках, и чуть слышно притворил дверь.

### Глава 3. Чего так боялся Гоголь

Грених уселся за стол, засветил лампу, вынул карандаш, старый блокнот, совершенно серьезно приготовившись занести ту историю с гипнотерапией на бумагу. Захотелось вдруг... нет, не испытать свое перо на прочность, а взглянуть на финал со всей беспристрастностью, чего он никогда прежде не делал. Итак, с чего начать?

Вдруг ни с того ни с сего сознание пронзило острое неверие в себя и почудился взявшийся откуда-то голос Кошелева: «Это все и яйца выеденного не стоит, эта ваша повесть! Я бы больше не стал ничего читать у вас, честно. Вы только обижаться не смейте. Ни красок, ни действия. Лубок! Да и никакой художественной цены сюжет не имеет».

Константин Федорович усмехнулся – писатель в его голове добавил что-то и от себя. Иногда внутренние критики безжалостней всех остальных. И они появляются тотчас же, едва терпишь неудачу, любую, даже самую крохотную, даже если поначалу дал твердое слово не обижаться. Умение не замечать этот жужжащий писк в себе – плод большого труда.

Грених передернул плечами, наблюдая работу собственного бессознательного и по незыблемой привычке пытаясь расщепить чувства на атомы.

Итак, Кошелеву не понравилось, как он подал историю... Что ж, повесть ведь не написана, не поздно принять вызов и все поправить. В чем же промах? Где ошибка? Отчего повествование показалось ему сухим и безжизненным? Может, нужно больше описаний? Или диалогов? Может, чрезмерно утомителен монолог брата? Может, Грених соврал? Или приукрасил слишком, или недостаточно красочно описал? Поди разбери, что нынешнему читателю со столь взыскательными вкусами требуется. Философствований, рассуждений? Деталей? Много деталей? Или лишь штрихи? А может, чувств? Страданий, плача, мук, смертей? Или, напротив, счастливого финала? Патриотизма! И обязательной победы советского героя над буржуазными устоями. Изобличения аристократизма и неперемного «горя от ума»...

В мысли бесцеремонно врывается голос Кошелева. Грених точно чувствовал его насмешливый взгляд на затылке, ощущал его дыхание у виска, слышал злорадные смешки.

Он написал полстраницы, но тут же принялся вымарывать строчку за строчкой. Потом откинул листы и, обхватив голову, уставился в черноту окна, вспоминая мучения брата, свои обвинения в симуляции, неверие в его болезнь. О таком писать – преступление, предательство. Зачем было вообще поднимать со дна эту историю? Что на него нашло? Муки совести сковали сердце, ведь Грених даже не знал, где он сейчас, жив ли он.

Не поднимая головы, Константин Федорович просидел до полуночи, перемалывая прошлое и старые, сто раз жеванные диалоги, размышляя, как иначе развернулись бы события, если бы он не пошел на поводу у Макса и не решился практиковать гипнотерапию.

Гостиница не была заселена полностью, у некоторых дверей оказались прибиты картонные таблички с именами, часть имеющихся номеров с пустыми каркасами кроватей и чисто выметенным голым паркетом все еще ждала постояльцев.

Позабывтое чувство уединения и тишины. Из окон хорошо просматривался лес. Даже ночью при луне пейзаж был живописен и чарующ, как в старых добрых сказках. Мир на минуту показался прежним, тихими, определенным. Можно было открыть окно без страха, что из соседней квартиры донесется пьяная брань, шум коммуналки. Уже несколько часов подряд никто не беспокоил ночным скандалом, не шаркал, не хлопал дверьми туалета, не оглашал пустой, длинный коридор воем или грохотом передвигаемой мебели.

Но стоило только об этом подумать, порадоваться, что за столь долгое время довелось побыть почти одному, как за толстой стеной что-то грохнуло – с размаху хлопнули ставней, потом упал большой тяжелый предмет. С этого мгновения гостиница проснулась, шум принял

тот привычный коммунальный окрас, который на веки вечные поселился в голове Грениха, делившего ныне старую родительскую квартиру с шумными жильцами.

За стенами привычно заходили, повыскакивали в коридор, застучали дверьми. А в соседней комнате ведь спит Майка, которую будить решительно недопустимо, – улизнет из гостиной, и потом ищи-свищи ее по лесу. Меж тем дело шло к полуночи. Самым отвратительным из всеобщей какофонии был перезвон не то колокольчика, не то сонетки. Он проникал через щели оконных ставней, просачивался сквозь замочные скважины, кажется, даже дребезжал в люстрах.

В конце концов Грених не выдержал и, отставив стул, вышел глянуть, что за беспорядки.

Оказалось, сонеткой вооружилась одна из пассажирок – та самая, артистка с белилами во все лицо, как и профессор, вынужденная сделать остановку в Зелемске. Она не показывалась внизу в столовой, предпочла уединение в номере, но отчего-то вдруг вознамерилась всю свою активность свести к ночному часу. В чепце и кимоно красного с черными разводами цвета она вышла из номера и, наклонившись к перилам, что-то кому-то живо объясняла. Из номера справа в открытую дверь кричал ей заспанный старик, совершенно справедливо обвиняя ее колокольчик во всех бедах. Дама возила сонетку с собой, видно, в надежде рассеять трезвоном непробиваемый советский морок и вернуть былую к себе почтительность. Сонетка была бессильна воскресить штат слуг, когда-то поддерживавший здесь порядки, и разместить по номерам приличных, достойных соседей, которые не шумят по ночам, как была бессильна вытравить из кровати клопов, о которых дама неистово кричала, или повесить на стены ковры и гобелены, способные хоть как-то скрадывать шум.

Насилу Грених удержался, чтобы не выхватить из рук экзальтированной мадам бречащую старорежимную безделку и не затоптать или разорвать ее пополам.

– Могу ли я чем-нибудь помочь? – сквозь зубы осведомился он.

– Отнимите у нее сонетку, и вы поможете всему дому, – зло бросил сосед и хлопнул дверью.

Дама, вздрогнув, обернулась.

– Ваш знакомый – сущее наказание! – сдержанно ответила она, оправив складки кимоно, вошедшего в моду в первые годы германской войны.

Колокольчик на широкой, шитой бисером ленте, отозвался на ее движение непереносимым в ночной тишине звоном, тотчас же задев звуковыми волнами барабанные перепонки. Грениха передернуло, он невольно коснулся пальцами ушей, перед глазами мелькнул фонтан взрытой земли, камней, щепы, свист шрапнели в ушах, взор заволокло красным, но он быстро смахнул накопившее воспоминание.

– Вы были осведомлены о его странном обыкновении разговаривать с самим собой? – спросила дама. – Он – актер? Репетирует роль? Эти вскрики, эти стоны и рычание... Мне порядком надоело все это терпеть. За стенкой слышно каждое слово. Я не могу уснуть, постель полна насекомых, одеяло худое, а еще и эти пугающие стоны.

В эту минуту поднялся Вейс в исподнем и со свечой в руке, почти тотчас же за третьей дверью что-то опять грохотнуло.

Грених решительно двинулся к злосчастному номеру и громко постучал по белой, в трещинах, двери. Дверь распахнулась, в коридор в европейского вида богатом шлафроке нарапашку вывалился Кошелев. Несколько секунд постоял, слепо пялясь перед собой, развернулся, как на шарнирах, шагнул обратно, ничего не сказав. Он был сильно пьян. Нет, судя по дыму, что повалил из номера, будто в открытую дверцу голландки подбросили сухих листьев, – под действием гашиша, в употреблении которого литератор с гордостью признался Константину Федоровичу несколько часов назад.

Грениху стало вдруг очень жаль этого человека. Не по своей ведь воле он пристрастился к гашишу. Он был нездоров, а может быть, весьма серьезно, и, будучи во власти болезни, не

контролировал себя. Его могли выставить вон с его барскими замашками за антисоветское бескультурье и буржуазный идиотизм. В конце концов, Вейсу ни к чему здесь шум.

В благородном порыве избавить всех и себя от неприятной ситуации, Константин Федорович нырнул в номер, заполненный дымом, не забыв тщательно закрыть за собой дверь.

– Вы ведь медик! – через дверь взвизгнул Вейс. – Мы все будем вам бесконечно благодарны, если удастся утихомирить... господина Кошелева, то есть товарища.

Войдя в гостиную, Грених невольно зажмурился от дыма – кажется, литератор к гашишу присовокупил парочку своих рукописей. Он снимал точно такой же двуспальный номер, какой взял Константин Федорович. Два небольших помещения с альковами разделены просторной гостиной, в которую можно попасть через небольшую переднюю. На окнах, выходящих на сторону крыльца, были лишь занавески до подоконника, раздвинутые теперь по сторонам. Номер хорошо освещен светом фонарей снизу, но сквозь пелену тяжелого смога невозможно было разглядеть ни мебелировки, ни стен, ни самого Кошелева.

Профессор бросился к окну, на ходу споткнувшись о выдвинутый на середину прикроватный столик, и опрокинул его. Дальше передвигался едва не на ощупь, одну ладонь прижав ко рту и носу, другую вытянув вперед. Достиг рамы, схватился со шпингалетом, но обнаружил, что тот отодвинут, а разбухшая ставня плотно приросла к раме, или от сильного удара слишком глубоко вошла внутрь. Он вспомнил, как кто-то сильно хлопнул окном. После нескольких усилий ставня поддалась.

Мало-помалу дым стал рассеиваться. Грених разглядел двери спален – обе были распахнуты, альковы кроватей носили следы присутствия гостя: разбросанные подушки, смятые простыни, оголенный, грязный, полосатый матрас. Кошелев, видно, перемещался из одной в другую, из-за своего неугомонного характера даже в выборе кроватей не смог определиться, повелев себе постелить обе, в то время как бедная артистка куталась в худое одеяло.

Сам он был тут же, в гостиной, распростерся на кушетке с полосатой, как у матраса, обивкой и стонал, у ног его лежали опрокинутый Гренихом столик, дюжина, не меньше, бутылок портвейна, трубки разной величины и формы, какой-то серо-зеленый порошок, несколько пустых пачек папирос «Дукат». Пепел летал по комнате, как снег, всюду разбросанная одежда и полусгоревшие тетради в количестве не менее десятка. Каждая сожжена на треть или наполовину, искрились выеденные пламенем дыры на единственном ковре. Грених принялся затапывать их.

– Они здесь, – писатель зашевелился, привстал. – Явились. А он хочет знать, как я их вызываю.

– Тише-тише, Карл Эдуардович. Нет здесь никого. Вы перебрали. Это галлюцинации, – успокоил его Грених и потянул за локоть, понукая подняться. – Давайте-ка я вас до кровати доведу. Уже полночь. Шумите, никому спать не даете.

Кошелев вырвал локоть и зло воззрился на Грениха. Но смотрел сквозь, не видя его. В лице его что-то поменялось. Рот был искажен, уголки губ съехали вниз, от носа пролегли две глубокие морщины, кои не были заметны прежде. Белые брови непривычно насуплнены. Он покачнулся, взявшись за край кушетки, хотел сесть ровнее.

– Нет, он здесь, здесь, в этой самой комнате, – упрямо возразил он, ткнув в воздух пальцем. – В окно влез... Вон открытое. Ждет, когда демоны явятся...

Кошелев недоговорил, рука его скользнула, и он всем телом полетел на пол.

– Я его открыл. – Грених едва успел подхватить падающего. – Вы же здесь надымили, дышать было невозможно. Чуть комнату не спалили. Вставайте.

С трудом удалось дотащить литератора до одной из спален. Грених нарочно выбрал ту, что располагалась дальше от его собственного номера, чтобы шумный сосед не разбудил ребенка через стенку. В дверном проеме литератор чуть было не рухнул опять, споткнувшись о порог, зацепился за воротник пиджака профессора, едва того не удушив. Терпеливо Констан-

тин Федорович помог ему удержаться на ногах и довел до кровати. Кошелев грузно шлепнулся на оголенный матрас, уронил локти на колени, обхватив голову руками.

– Больше так не могу, – процедил он сквозь зубы с рычанием. – Не могу-у! Я спать хочу, понимаете, как все люди, как все нормальные люди, я не хочу больше видеть этих демонов. Все, наигрался, не хочу.

– Оставьте курительные смеси, уйдут ваши демоны, – строго ответил Грених.

– Не в них дело. – Он вновь предпринял попытку выпрямиться и сесть ровнее, провел по волосам рукой, откидывая назад растрепанную прядь. В тоне и голосе его тоже случились перемены. Несмотря на то, что его шатало, говорил он, будто пребывая в гораздо более ясном сознании, чем прежде. Не притворялся, не корчил рожи, не взвизгивал.

Перед Гренихом был человек, словно отыгравший роль Трибуле и вернувшийся в закулисы, тяжело опустившийся перед зеркалом в гримерной и рукой стирающий с себя белила, как грязь.

– Гашиш прописал английский доктор, – глухо и как-то непривычно спокойно объяснил он. – При моем состоянии нарушения сна приходится чередовать средства, возбуждающие нервную систему днем, а ночью употреблять то, что ее успокаивает. А сейчас что-то так худо стало...

– Вы лечились в Англии?

– Да, уже давно уехал туда на лечение. Все к чертям здесь пропустил: и войну, и революцию. У меня она самая... нарколепсия, – чего так сильно боялся Гоголь. Профессор, вы говорили о целительном гипнозе! – Он поднял голову и опять усталым движением убрал с мокрого лба волосы. – Простите мне мою маску. Я притворялся идиотом; но если бы только я мог знать, что с вами этого делать не обязательно...

Он тихо и обреченно засмеялся. Казалось, вот-вот смех перейдет в слезы. Грених заметил, как по носу пролегла блестящая бороздка, которую Кошелев тут же стер.

– А Зимины я нарочно подзадоривал, любя. Иначе его из кокона не вытянешь. Вы же понимаете, что я все это несерьезно, а так... Он ведь как человек в футляре, его надо спасать. Да, и он меня простил. Зимин! – вдруг вскрикнул Карл Эдуардович и засмеялся. – Эй, ты здесь еще? Скажи, простил ли ты меня?

– Не кричите, – холодно оборвал его Грених. – Здесь никого нет.

– Ах простите, простите, – вздохнул Кошелев. – Что я еще вам наговорил? Надеюсь, не слишком обидел? Не хотел казаться больным и жалким... нагородил всякого. Ваша повесть хороша, может, даже слишком. Вы бы взяли за меня? Взялись бы меня вылечить? Не могу спать. Как только засыпаю, тотчас попадаю... – Кошелев втянул воздух через сжатые зубы, пошарил слепой рукой вокруг себя по пустому матрасу, наткнулся на пачку «Дуката», вынул папиросу, но тотчас ее отбросил, едва сунул в рот. – Пить... хочется невыносимо. Не подадите водички?

Грениху пришлось искать воду. В потемках это было непросто. Но когда открывал ставни, заметил на краю письменного стола, заваленного бутылками и тетрадами, графин с единственным стаканом – здесь в каждый номер их ставили, у Грениха возле кровати они тоже имелись. В стакане были остатки вина. Сполоснув его, он плеснул воду за окно. Налил на две трети и отнес Кошелеву.

Тот дрожащей рукой взял стакан, попытался пальцами другой руки унять дрожь, на мгновение схватив самого себя за запястье. Вода расплескалась на рукав халата. Резким движением он припал к воде, будто к живому источнику.

– Вкусная-то какая! Каждый раз как будто впервые, – утолив жажду, выдохнул Карл Эдуардович.

Некоторое время он сидел тихо, уставившись в пол перед собой и сжимая пустой стакан. Грених наблюдал за ним, испытывая внутренне облегчение, но Кошелев вдруг опять тихо рас-

смеялся. Тихий смех перерос в конвульсивный. Его стало трясти, стакан выпал и закатился под кровать.

– Ах, я, кажется, снова слепну... – в страхе вскричал он. Грених даже вздрогнул от неожиданной реакции.

– Профессор, подайте руку, где вы? Ушел... ушел, – вскочил он, стал шарить ладонями в воздухе, но, наткнувшись на плечо Грениха, обессиленно выдохнул.

– Присядьте рядом. Пожалуйста, выслушайте меня! Не уходите сейчас...

Грених терпеливо усадил его обратно на матрас.

– Я не могу спать, – вскинул голову Кошелев, устремив слепые глаза мимо лица Грениха, на стену позади него, и часто заморгал. – Только закрываю глаза, как мое тело словно швыряют куда-то в иные миры. Что, если и сейчас так будет? Почему так темно? Выключили фонари снизу? Не уходите! Я не вру, не кривляюсь. Даю слово говорить только правду. Часто, очень часто во сне я попадаю в детство, в кирпичные, выбеленные стены нашей фабрики. Эти стены... – Он замолк, вцепился в полосатые края матраса в очередной попытке удержать равновесие. Несколько секунд сидел качаясь. Потом успокоился и вновь нашарил оброненную пачку «Дуката». – Как у вас в психиатрии называется чувство невозможности вернуть прошлое? – начал он, чуть шепелявя оттого, что во рту его опять оказалась папироса. Закурить было нечем. – Бывало ли с вами когда-нибудь такое: является сквозь толщу лет одно яркое, щемящее воспоминание из далекого детства. Оно ударяет, как стрела, пронзает осознание – острое, холодное, – что время утекает невозвратно, ничего не вернуть и все, что нас ждет впереди, – это могила. Однажды мне явились стены фабрики. Как вспышка, кадр из кино. И с тех пор они всегда перед глазами. Сквозь побелку едва зримым рисунком проступают удлиненные прямоугольники кирпича. Мальчиком я воображал всегда, что это плоская лестница для плоского народца, вроде шотландских гномов театра вырезанных из картона марионеток, и эти маленькие человечки шагают вниз и вверх, разговаривают, что-то носят, спорят, стучаются лбами, задевают друг друга носками длинных причудливых башмачков. Кто знал, что детские невинные фантазии обернутся экзистенциальным ужасом и будут душить, душить, душить...

Он улыбнулся, слепо глядя в сторону. Папироса выпала изо рта, он этого не заметил.

– А может, я просто капризничаю и хочу туда, где мать держала меня за руку, пока я лежал недвижимо, прекрасно видя, что кругом творится, где Митя – молчаливый и чуткий – приходил в гостиную и подолгу сидел, дожидаясь, когда я поднимусь, где жив был отец... Старый, тихий, ровненький, но сгинувший мир... В нем мы держали фабрику с паровыми машинами и станками, печатали бумагу самой высшей пробы – и почтовую, и писчую... альбомная, товарная и пакетная на всякий вкус. Писчебумажная фабрика Кошелева! Но весь доход с нее уходил на мое лечение... Потом отца не стало... Он ведь почему сестре фабрику отписал? Посмотрите на меня! Какой из меня фабрикант?

Грених наблюдал молча, в ожидании, все еще надеясь, что приступ истерии минует.

– Чтобы наскрести на лечение и вернуться обратно, пишу гадкие эти, никому не нужные повести и рассказы под разными псевдонимами. Мне самому противно от того, какими они получаются отвратными, уродливыми, жуткими, будто сшитыми из разных кусков отчаяния и страха. Одни называют это фантастикой, другие – мистикой! А здесь я вынужден придумывать им еще и революционный смысл, чтобы угодить коммунистам. Но я лишь себя в них изображаю, наделяю вымышленных уродцев своими чаяниями, мечтами и позволяю, чтобы какой-нибудь красный офицер раздавил такого уродца. Люди ненавидят моих персонажей и презирают за романтику старорежимности, сочувствуют гордому борцу против них. Они как стая гиен, бросаются, кричат: «Бездарность! Серость!» Но плюя мне в душу, они требуют еще и еще! «Не смей, не пиши ни строчки! Готов ли ваш новый рассказ?» Пойди пойми, отчего им пришлось по вкусу мои мрачные фантазии о загробной жизни при всей моей бесталанности. Там же нет ни логики, ни правды, ни реализму!.. Им, видно, просто нужно больше повода для

насмешек. Они хотят видеть неиссякаемый страх в моих глазах, больше ужаса смерти, больше мучений. Иногда понять не могу, то ли меня хвалят из жалости, то ли хулят из зависти. Зимин прав... Сатира и юмор!

Он закашлялся, голос его вдруг стал хрипеть, как несмазанные шестеренки старых башенных часов. Обнял себя руками, говорил, монотонно раскачиваясь и проводя языком по сухим губам.

– Вот скажите, профессор, зачем людям логика и правда в книгах? Ведь они в жизни замечательно обходятся без того и другого. Я вам противен, доктор? Чувствую ваше презрение. В вашем молчании. Мне удалось внушить вам отвращение к себе, да? И стараться особо не пришлось... Белая крыса! Всякая аномалия, любое уродство кажется таким забавным, коли оно – не твоя извечная одежда.

Говорить ему было все тяжелее, язык заплетался, как у сильно пьяного, и вот он вдруг стал по-настоящему задыхаться, зажимая рот рукой, бросая затравленные взгляды вправо-влево.

– Regardez, regardez, docteur, – взвизгнул он, сойдя на французский, – il est là, assis à la porte. Il attend quand vous partiez<sup>17</sup>.

– Это галлюцинации. Вам нужно лечь спать. Я попрошу кого-нибудь принести еще воды.

– Нет, – вцепился Карл Эдуардович конвульсивной хваткой в рукав Грениха. – Ne me quitte pas, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Je ne veux pas mourir, je pense que je vais mourir aujourd'hui...<sup>18</sup> Я попаду в дефибрер, или под втулки каландра, или под бумажный станок. Меня расплющит... О боже, я уже слышу, как ломаются мои кости.

Константин Федорович было поднялся, но ему пришлось опуститься рядом с литератором вновь.

– Вы не умрете ни «aujourd'hui»<sup>19</sup>, ни «demain»<sup>20</sup>.

– Я не хочу на фабрику, профессор.

– Так не ходите туда.

– Меня туда швыряют какие-то высшие силы. Как вы не поймете! Я супротив них ничего поделать не могу. Я на ней вырос. Она – мой дом, эта фабрика. – От последнего вскрика его голос окончательно осип, он уже едва шептал, иногда речь прорезала странная хрипота, будто кто сдавливал глотку. Частота дыхательных движений напоминала тип дыхания по Чейну-Стоксу.

Грених насторожился. Но Кошелев все продолжал говорить, будто знал, что, если останется, – тотчас падет мертвым.

– Однажды я не смогу оттуда вернуться. Вам и не представить, каково это – каждый раз сражаться, пробиваться, протискиваться, карабкаться по этим железякам, чтобы вылезти на волю. Мое погребение в дефибрере... Нечем дышать! Там нечем дышать!

Кажется, на этот раз он перестарался с успокоительными средствами. Но почему же ему вдруг стало хуже, едва он выпил воды? Грених схватил литератора за руку и стал щупать пульс. Рука была горячей, весь он пылал и трясся в настоящей лихорадке. Лучше дать ему выговориться. Оставить одного нельзя – натворит бед.

– ...Огромные стальные агрегаты – саморезка, линевальная машина с огромными шестернями, – все повторял он, самозабвенно раскачиваясь, – самочерпка, линевальная машина, самочерпка... вся испещренная, как гриб сморчок! Трубы и трубки, паутина... Высокие потолки вытягиваются. До самой луны. Металлические лестницы, узкие площадки из

---

<sup>17</sup> Смотрите, смотрите, доктор, вот он, сидит у двери. Он ждет, когда вы уйдете (*франц.*).

<sup>18</sup> Не оставляйте меня, прошу! Прошу! Я не хочу умирать, мне кажется, я сегодня умру... (*франц.*)

<sup>19</sup> Сегодня (*франц.*).

<sup>20</sup> Завтра (*франц.*).

листового железа, вьются следом. Железо оглушительно шумит, если по нему пронестись бегом. Шумит железо...

Потом он будто успокаивался, голос его становился ровнее, в речах появлялось здравомыслие. И, говоря, он даже смотрел на Грениха, а не мимо.

– Я носился мальчишкой по этим железным снастям и мачтам нашей фабрики. И возвращаюсь туда уже каким-то сгустком, эфирным облаком... Машины начинают потихоньку приходить в движение, вращаются маховики, медленно тянется меж ними тонкое бумажное полотно, шумят трубы, пахнет глазурью. Под ногами скрипят битое стекло, сухие ветки, песок, который нанесло сюда за столько лет сквозняками. Одну из стен оприходовали стрижи. Они налепили туда несколько десятков, сотню этих своих жутких гнезд. Отвратительные комья глины, утыканные соломой. Ужасное зрелище – стена, будто живое глиняное чудовище, Голум.

Грениху насилу удалось уложить литератора и подняться. Уйти все еще нельзя, больной был в плохом состоянии со своими жаром, учащенным пульсом и тем более дыханием – из поверхностного оно переходило в тяжелое, частое, а на седьмой вдох вновь становилось редким. Сейчас лучшее, что можно сделать, дожидаться, когда действие курительной смеси ослабнет, больной утомится и уснет.

Грених придвинул стул, сел. Нужно отвлечь его.

– Эти кажущиеся вполне реальными переживания возникают в начальной фазе сна, – начал Константин Федорович, придав своему тону как можно больше серьезности. – В тех работах о болезни Желино, которые мне известны, каждый пятый случай описан с упоминанием симптома гипнагогических галлюцинаций. Как долго вы страдаете бессонницей?

– Я мучаюсь ею всю сознательную жизнь. Ночью я не знаю, куда себя деть, могу так не спать неделю, а потом в один прекрасный день ощущаю такую непреодолимую тяжесть в голове. Веки становятся словно мраморные. Ноги не слушаются, подгибаются колени, и нет никаких сил противостоять засыпанию. Оно окутывает бледным саваном, стягивает меня, становится тесным, трудно шевелиться и дышать. И я падаю... Головой понимаю, что падаю, но противостоять этому нет сил... Падаю и поднимаюсь уже там, на фабрике. И там я – ребенок.

– Это второй симптом, – подхватил Грених в попытке пресечь очередную волну излияний, наполненных странными фантазиями и детскими воспоминаниями.

– А то, что я вижу сейчас? Что же тогда это такое, ведь я не сплю, и вы тому, доктор, прямое подтверждение.

– Что вы видите?

– Тьму. Кромешную, черную! И того, кто в углу; спрятался, думает остаться незамеченным.

Грених встал, подошел к двери, поводит рукой справа, слева. Вернулся, сел.

– Там никого нет. Это третий симптом, присущий нарколепсии. Гипнопомпические галлюцинации. Наблюдаются при пробуждении, или в темноте, как сейчас, и являются продуктом подавленной работы лобной доли головного мозга.

– Я все же в конце концов останусь дураком, – предпринял попытку пошутить Кошелев и перевернулся на бок, натянув изъеденное молью одеяло на голову.

– Нет, таких данных ученые психиатры не оставляли на моей памяти, – ответил Грених своей попыткой шутки. Осознав ее нелепость, поспешил замять продолжением лекции: – Приступы нарколепсии можно предотвратить. Обычно они возникают во время переживания эмоционального всплеска. Порой достаточно лишь рассмеяться или заплакать, чтобы спровоцировать внезапное засыпание. Если эмоции держать под контролем, то можно избежать многих неприятностей.

– Все это я знаю! – с горечью вздохнул Кошелев. – Но эмоции – моя жизнь, ими питаются мои персонажи, ими полнятся страницы рукописей, ими я вырисовываю буквы и образы. Это мой хлеб.

– Понимаю. Вы личность творческая. Но именно крайности в вашем случае служат катализатором приступов. Вы на любые эмоции выработали стойкий рефлекс. И каждый раз, мысленно рисуя новый сюжет, доводите свой мозг до чрезвычайно высокой степени активности, и он сам себя воспринимает как угрозу. Он заставляет тело притвориться мертвым.

– Подозревал, что я все-таки гений, – опять сыронизировал Кошелев, заставив Грениха вздохнуть с облегчением – кажется, кризис миновал, действие психотропных компонентов смол курительной смеси падает.

Вскоре Карл Эдуардович совсем успокоится.

– Притвориться мертвым? – спросил он. – Это как змея, которая деревенеет?

– Совершенно верно. Изучение рефлексов животных – любопытная область науки. Имеется параллель между рефлексами животных, проявляемых в минуту опасности, и неестественным засыпанием человека в ответ на сильные эмоции. Некоторые животные способны притвориться мертвыми, едва мозг пропускает сигнал, что их положение безвыходно. Так поступают гиены, опоссумы, многие птицы. Называется это катаплексией. Они как будто в единый момент окоченевают самым настоящим образом, не отличить от трупного окоченения, но едва опасность минует, вскакивают как ни в чем не бывало и бегут прочь. Этот особый рефлекс давно будоражит ученый мир. И, кажется, есть связь между нарушением баланса в веществах мозга, выделяющихся во время приступа нарколепсии, и активностью этих веществ в ту минуту, когда мозг посылает сигнал об опасности. Мозг как бы атакует сам себя и отключается, заодно отключая все тело, – сыпал профессор медицинскими понятиями, как колдовскими заклинаниями, в надежде усыпить ими Кошелева.

– Ага, – зевнул тот. Дыхание его выровнялось.

– В вашем случае процесс сна застревает в коре головного мозга и не проходит в глубинные его части. Обычный человеческий сон состоит из нескольких фаз. Фаза быстрого сна сменяется фазами медленного, глубокого сна, которые проходят почти без сновидений. Фаза глубокого сна возвращается к фазе быстрого, и все таинство подходит к порогу пробуждения. Больные же нарколепсией не переживают глубокую фазу. Мозг их надолго застревает в фазе быстрого сна, из которого не может выбраться, что приводит к вашим путешествиям по детским воспоминаниям о фабрике – гипногическим галлюцинациям. Именно потому мозг ваш никогда не отдыхает, продолжает функционировать и во сне, дарит яркие сновидения, которые легко можно счесть за реальность. Но после, утомленный, он реагирует на усталость вот такими причудливыми сбоями – заставляет вас впадать в приступ летаргического сна.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.